

ХАНЬЯ ЯНАГИХАРА

ДО САМОГО РАЯ

CoRpus

БЕСТСЕЛЛЕР №1 ПО ВЕРСИИ

THE NEW YORK TIMES

от автора романов “МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ”

и “ЛЮДИ СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ”

18+

Ханья Янагихара

До самого рая

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Янагихара Х.

До самого рая / Х. Янагихара — «Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-145518-7

Новый роман Ханьи Янагихары, автора мировых бестселлеров “Маленькая жизнь” и “Люди среди деревьев”, – это и неординарный интеллектуальный вызов, и меткое попадание в каждое сердце. В альтернативной версии Америки 1893 года, когда отпрыск влиятельной семьи соглашается на достойный брак по договору, его внезапно настигает страсть, грозящая разрушить привычную жизнь. В 1993 году молодой гаваец прячет от близких свое знатное происхождение и сложные отношения с отцом. В 2093 году внучка большого ученого нащупывает собственный путь в мире эпидемий и тотального контроля. Их судьбы сплетаются в сложную симфонию, странным эхом перекликаясь через столетия и проходя вечные человеческие испытания: одиночество, любовь, стыд, болезнь, предательство, добро и зло – все эти неуловимые вещи, то и дело норовящие обернуться своей противоположностью. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-145518-7

© Янагихара Х., 2022

© Издательство АСТ, 2022

Содержание

Книга I	7
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	21
Глава 5	28
Глава 6	36
Глава 7	43
Глава 8	48
Глава 9	51
Глава 10	54
Глава 11	56
Глава 12	61
Глава 13	68
Глава 14	74
Глава 15	78
Глава 16	81
Глава 17	83
Глава 18	89
Глава 19	95
Книга II	102
Глава 1	102
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Ханья Янагихара

До самого рая

© 2022 by Hana Yanagihara

© maps by John Burgoyne

© А. Борисенко, А. Гайдено, А. Завозова, В. Сонькин, перевод на русский язык, 2023

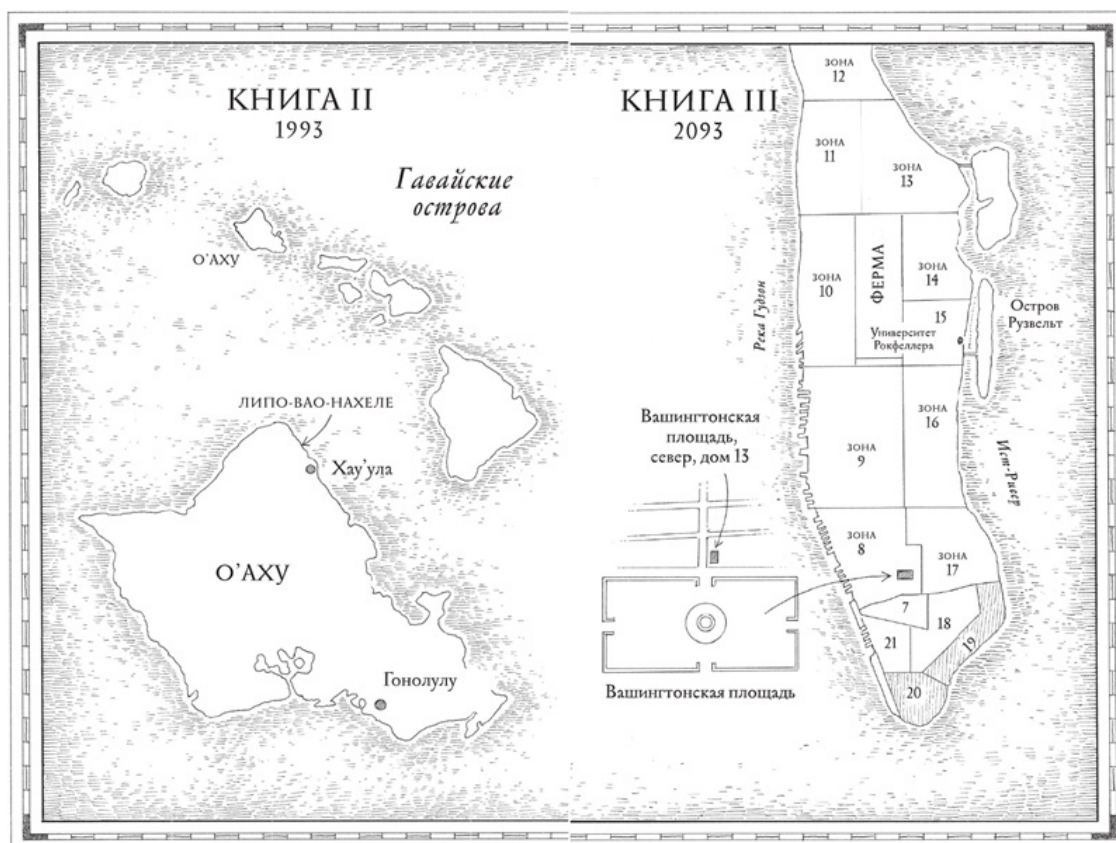
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО “Издательство АСТ”, 2023

Издательство CORPUS®

*Дэниелу Роузберри,
неизменному спутнику,
и Джареду Холту,
всегда*





Книга I

Вашингтонская площадь

Глава 1

У него вошло в привычку совершать прогулку в парке перед ужином: десять кругов, в какие-то вечера неспешно, в другие быстрым шагом, чтобы потом поскорее подняться по лестнице в свою комнату, вымыть руки, поправить галстук и спуститься к столу. Однако сегодня, когда он выходил, маленькая горничная сказала, подавая ему перчатки: “Мистер Бингем просил напомнить, что ваши брат и сестра придут на ужин”, – и он ответил: “Да-да, Джейн, спасибо, что напомнили”, – как будто и вправду забыл, и она слегка присела в реверансе и закрыла за ним дверь.

Ему следовало идти быстрее, чем он шел бы, если бы мог располагать своим временем, но Дэвидом овладел дух противоречия, и он нарочно замедлил шаг, прислушиваясь к тому, как его каблуки отстукивают по плитам и шаги деловито звенят в холодном воздухе. День почти уже подошел к концу, и небо приобрело тот особый чернильно-лиловый оттенок, который всегда болезненным уколom напоминал ему о годах, проведенных в школе, о том, как все тонуло в темноте, как растворялись перед его глазами контуры деревьев.

Скоро уже настанет зима, а он все еще в легком пальто, но Дэвид шагал вперед, скрестив руки на груди и подняв воротник. Даже после того, как колокола пробили пять, он опустил голову и продолжал идти, пока не окончил свой пятый круг, а потом повернулся со вздохом и зашагал на север по одной из дорожек, ведущих к дому, поднялся по гладким каменным ступеням, и дверь открылась перед ним прежде, чем он взошел на крыльцо, и дворецкий уже протягивал руку за его шляпой. – В малой гостиной, мистер Дэвид. – Спасибо, Адамс.

У двери в гостиную он остановился, несколько раз пригладил волосы – одна из его нервических привычек: он постоянно убирал со лба вихор, когда читал или рисовал, а когда играл в шахматы (обдумывал ход или ждал своей очереди), тихонько водил указательным пальцем под носом; были и другие навязчивые жесты, – а потом снова вздохнул, распахнул сразу обе двери, изображая уверенность, которой, конечно, совсем не чувствовал.

Они все разом посмотрели на него, равнодушно, без радости, но и без досады. Он был все равно что стул, часы, шарф, брошенный на спинку дивана, что-то столько раз виденное, что взгляд скользит поверх, привычное присутствие, декорация, которая уже была на сцене, когда поднялся занавес. – Снова опаздываешь, – сказал Джон прежде, чем Дэвид успел выговорить хоть слово, но голос брата звучал мягко, он не собирался его отчитывать, хотя с Джоном никогда не знаешь, чего ждать. – Джон, – сказал он, не отвечая на упрек, пожимая руку брату и его мужу, Питеру. – Иден. – И он поцеловал сначала сестру, а потом ее жену, Элизу, в правую щеку. – Где бабушка? – В погребе. – А.

Они все замолчали, и на мгновение Дэвид ощутил ту неловкость, которая нередко посещала его, когда они собирались втроем, три Бингема, – опасение, что им нечего сказать друг другу, или, вернее, что они не знают, как говорить друг с другом в отсутствие бабушки, как будто только бабушка связывал их, а не общая кровь, не семейная история. – Трудный день? – спросил Джон, и он быстро взглянул на него, но голова Джона склонилась над трубкой, и Дэвид не мог бы сказать, что кроется за этим вопросом. Когда его охватывали сомнения, он обычно угадывал, что имеет в виду Джон, посмотрев на Питера, – Питер меньше говорил, но лицо у него было более выразительное, и Дэвид думал, что они сообщаются с миром как единое целое: Питер выражением глаз, движением подбородка как будто прояснял слова Джона, а

Джон как будто разъяснял вслух гримасы, пробегавшие по лицу Питера, – вот он нахмурился, вот бегло улыбнулся; но сейчас лицо Питера оставалось столь же непроницаемым, как и голос Джона, помощи ждать было неоткуда, и Дэвиду пришлось отвечать, как будто вопрос был задан без подвоха, – возможно, так оно и было. – Не очень, – сказал он, и правдивость этого ответа, его очевидность, его предсказуемость, была так обнажена и несомненна, что комната словно застыла, и даже Джон как будто устыдился своего вопроса. А потом Дэвид принялся оправдываться, как это с ним случалось: он пытался описать, облечь в словесную форму свои дни, и от этого становилось только хуже. – Я читал... – Он был избавлен от дальнейших унижений, потому что в эту минуту вошел дедушка, держа в руках темную бутылку, окутанную серой пушистой пылью, с победным восклицанием “Нашел!”, хотя он еще даже не поздоровался, а продолжал говорить с Адамсом: сегодня запросто, без формальностей, можно сейчас декантировать вино, и они выпьют его за ужином. – А, смотрите-ка, кто пришел, пока я искал чертову бутылку, – сказал он и улыбнулся Дэвиду, прежде чем повернуться к остальным и объять своей улыбкой их всех, приглашая последовать за ним, что они и сделали, чтобы приступить к ежемесячному воскресному ужину, шесть человек вокруг отполированного дубового стола, каждый на своем привычном месте: дедушка во главе, Дэвид по его правую руку, Элиза справа от Дэвида, Джон слева от дедушки, Питер слева от Джона, Иден напротив дедушки. Они вели обычные необязательные разговоры вполголоса: новости банка, семейные новости Питера и Элизы. Где-то снаружи горел и рушился мир: немцы продвигались все глубже в Африку, французы прорубали путь в Индокитай, и ближе последние ужасы Колоний: расстрелянные, повешенные, избитые, принесенные в жертву; события, о которых и подумать страшно, и так близко, но ни одному из этих событий, особенно тем, что происходили неподалеку, не дозволено было пробиться сквозь облако, обволакивающее ужины у дедушки, где все было мягким, а твердое становилось податливым – даже палтус так искусно приготовлен на пару, что его можно зачерпнуть специальной ложкой и кости поддаются нежнейшему нажиму серебра. Однако же все труднее становилось удерживать внешний мир от вторжения в святая святых, и за десертом – силлабаб из имбирного пива, легкий, как молочная пена, – Дэвид задался вопросом, думают ли остальные, как и он, о том драгоценном корне имбиря, что был найден и выкопан в Колониях, а потом привезен сюда, в Свободные Штаты, куплен поваром за большие деньги: кого заставили выкапывать корни имбиря? Из чьих рук он был взят?

Когда после ужина они собрались в гостиной и Мэтью разлил по чашкам кофе и чай, а дедушка поерзал на своем кресле, совсем немного, Элиза вдруг вскочила на ноги и объявила: – Питер, я все хочу тебе показать картинку в той книге, с этой необыкновенной морской птицей, о которой я говорила тебе на прошлой неделе, я дала себе слово, что не забуду в этот раз, – можно, дедушка Бингем?

И дедушка кивнул и сказал: “Конечно, детка”, – и Питер тоже встал, и они рука об руку вышли из комнаты, а Иден вся светилась от гордости за жену, которая так тонко настроена на окружающих, так превосходно чувствует, когда Бингемы хотят побыть одни, и умеет деликатно избавить их от своего присутствия. Элиза была рыжеволосой, с крупными руками и ногами, и когда она шла по гостиной, маленькие стеклянные висюльки на настольных лампах дрожали и позвякивали, но в общении она была легкой и быстрой, и все они не раз имели случай в этом убедиться и были ей благодарны за проницательность.

Значит, сегодня у них наконец состоится разговор, о котором дедушка предупреждал еще в январе, в самом начале года. И каждый месяц они ждали, и каждый месяц после каждого семейного ужина – и после Дня независимости, и после Пасхи, и после Майского дня, и после дня рождения дедушки, и по другим поводам, когда они собирались все вместе, – этот разговор все не случался, и не случался, и не случался, и вот теперь, во второе воскресенье октября, он все-таки произойдет. Остальные тоже поняли, что им предстоит, и все как-то подобрались, вернулись к тарелкам и блюдецкам с надкусанным печеньем, к полупустым чашкам, распря-

мили скрещенные ноги, выпрямили спины, все, кроме дедушки, который только глубже откинулся в своем кресле, и оно заскрипело под ним. – Я всегда старался растить вас троих в духе честности, – начал он после свойственной ему паузы. – Я знаю, что другой дедушка не стал бы заводить с вами этот разговор, из осмотрительности и чтобы избежать споров и нареканий, которые неизбежно следуют из такого разговора, – зачем, если все эти споры можно отложить на потом, когда тебя уже не будет и все обойдется без твоего участия. Но я никогда не был таким дедушкой вам троим, так что предпочту сказать все просто и прямо. Однако имейте в виду, – тут он остановился и обвел всех троих острым взглядом, – это не значит, что я собираюсь выслушивать нарекания. То, что я сообщаю вам о своих намерениях, не означает, что намерения недостаточно тверды, – это будет конец обсуждения, а не начало. Я говорю вам все это сейчас, чтобы не было недоразумений и домыслов, – вы услышите мою волю от меня, своими собственными ушами, а не прочтете на листе бумаги в конторе Фрэнсис Холсон, когда придете туда все в черном.

Дедушка продолжил: – Вы не удивитесь, что я намерен разделить свое имущество поровну между вами тремя. У всех у вас, конечно, есть свои вещи и собственность ваших родителей, но я отписал каждому свои личные сокровища – предметы, которые, я полагаю, доставят радость вам или вашим детям. Однако что кому достанется, вы узнаете позже – когда меня уже не будет с вами. Отложены деньги на ваших детей, которые еще могут появиться. Для тех детей, которые уже есть, я основал фонд: Иден, равная сумма причитается Вулфу и Розмари; Джон, столько же для Тимоти. И, Дэвид, такая же сумма на любого из твоих будущих детей. Компания “Братья Бингемы” будет по-прежнему контролировать свой совет директоров, и акции будут поровну распределены между вами тремя. За каждым из вас числится место в совете. Если кто-то из вас решит продать акции, его ждут высокие штрафы, и он должен будет предоставить двум другим право первой покупки, со скидкой, и сделка должна быть одобрена советом директоров. Я все это обсуждал с каждым из вас по отдельности. В этих условиях нет ничего необычного.

Он снова немного поерзал в кресле, и они тоже, потому что интрига состояла как раз в том, что он скажет дальше, и все трое знали и знали, что дедушка тоже знает: что бы он ни решил, кто-то из них будет так или иначе разочарован – вопрос только, кто и как именно. – Иден, тебе достанется поместье Лягушачий пруд и квартира на Пятой авеню, – объявил он. – Джон, ты получишь Лакспур и дом в Ньюпорте.

И тут воздух вокруг них, казалось, загустел и задрожал, потому что все поняли, что это значит: Дэвид получит дом на Вашингтонской площади.

– Что касается Дэвида, – медленно проговорил дедушка, – Вашингтонская площадь и коттедж на Гудзоне.

Казалось, он выбился из сил и откинулся еще глубже на спинку кресла в настоящем, не наигранном изнеможении; в комнате повисло молчание. – Таково мое решение, – объявил дедушка. – Я хочу, чтобы все вслух выразили свое согласие. Сейчас. – Да, дедушка, – хором прошелестели они, а Дэвид пришел в себя и сказал “Спасибо, дедушка”, и Джон и Иден, выйдя из транса, эхом повторили за ним эту фразу. – На здоровье, – сказал дедушка. – Но будем все-таки надеяться, что пройдет много лет, прежде чем Иден сровняет с землей мой любимый шалаш на Лягушачьем пруду. – Он улыбнулся ей, и она заставила себя улыбнуться в ответ.

После этого, хотя никто ничего не сказал, вечер внезапно подошел к концу. Джон позвонил в звонок и передал Мэтью, чтобы тот позвал Питера и Элизу и вызвал их экипажи, потом начались объятия, поцелуи и прощания, когда все собрались у дверей, и брат и сестра и их супруги надевали пальто, кутались в шали и шарфы – обычно прощания проходили долго и шумно: запоздалые замечания о поданных блюдах, новости о повседневной жизни, которые они забыли сообщить за ужином; но сегодня прощание было приглушенным, кратким, у Питера и Элизы на лицах уже застыло ожидающее, понимающее, сочувственное выражение,

которому все, кто входил в семейство Бингемов, быстро обучались на самых ранних стадиях брака. А потом они все разъехались после последних прощальных поцелуев и объятий, которые включали и Дэвида, по крайней мере телесно, пусть и без особого тепла.

После таких воскресных ужинов они с дедушкой имели обыкновение выпить по стаканчику портвейна или еще по чашечке чаю в дедушкиной гостиной, обсудить, как прошел вечер, – они не то чтобы сплетничали, а просто обменивались наблюдениями, дедушкины реплики были чуть более ядовитыми, по праву и в силу характера: не показалось ли Дэвиду, что Питер как-то бледновато выглядит? Этот профессор анатомии, о котором рассказывала Иден, какой-то невыносимый индюк, да? Но сегодня, когда дверь закрылась и они снова остались в доме одни, дедушка сказал, что устал, был длинный день, пойдет-ка он, пожалуй, спать. – Конечно, – ответил Дэвид, хотя никто не спрашивал у него разрешения, но он тоже хотел остаться один, подумать о том, что выяснилось сегодня, и он поцеловал дедушку в щеку, постоял немного в золотистом полумраке освещенной свечами прихожей – в доме, который когда-нибудь будет принадлежать ему, а потом повернулся и поднялся наверх в свою комнату, перед этим попросив Мэтью принести ему еще силлабаба.

Глава 2

Он не думал, что сможет уснуть, и в самом деле лежал без сна, как ему казалось, много часов, понимая, что одновременно грезит и бодрствует; он чувствовал под собой накрахмаленный хлопок простынь и знал, что поза, в которой он лежит – левая нога согнута и образует треугольник с правой, – даст о себе знать на следующий день онемелостью, неловкостью. И все-таки он, видимо, уснул, потому что, открыв глаза, увидел полоску света между шторами, которые не вполне сходились, услышал цоканье копыт по мостовой и как за дверью горничные трут пол и передвигают ведра.

Понедельники всегда были ему тягостны. Страх, поселявшийся в нем с вечера, не проходил, и обычно он старался встать пораньше, даже до того, как встанет дедушка, как будто он тоже вливается в деятельный поток, оживляющий жизнь большинства людей, как будто у него, как у Джона, Питера, Иден, есть обязанности, которые необходимо выполнять, или, как у Элизы, есть места, куда необходимо поехать, как будто перед ним не лежит бесформенный день, такой же, как и все другие дни, который он сам должен чем-то заполнить. Не то чтобы он был никем, формально он возглавлял благотворительный фонд фирмы, именно он одобрял выплаты тому или иному лицу или организации, которые в совокупности представляли собой что-то вроде семейной истории: лидеры сопротивления, ведущие борьбу на Юге, благотворительные организации, объединяющие беженцев и предоставляющие им жилье, разные группы, ратующие за образование негров и против жестокого обращения с детьми, обучающие бедняков, дающие приют толпам эмигрантов, ежедневно прибывающих к нашим берегам, представители народов, с которыми сталкивался тот или иной член семьи и, проникшись их участью, теперь помогал им по мере сил, – но все-таки его ответственность не простиралась дальше подписания чеков, одобрения ежемесячных столбцов цифр, расходов, которые уже были представлены бухгалтерам и юристам фирмы его секретаршей, деловитой молодой женщиной по имени Альма – она практически управляла фондом; он нужен был только как носитель своего имени, Бингем. Он также участвовал добровольцем в разной благотворительной деятельности, подходящей еще молодому человеку из хорошей семьи: собирал коробки с бинтами, перевязочными материалами и травяными снадобьями для бойцов в Колониях, вязал носки бедным, раз в неделю учил рисованию воспитанников сиротской школы, которой покровительствовала его семья. Но все эти занятия, вместе взятые, не составляли и недели в месяц, а остальное время он влачил одинокое и бесцельное существование. Иногда ему казалось, что жизнь – это то, что необходимо преодолеть, и в конце дня он залезал в постель со вздохом, осознавая, что миновал еще небольшую часть существования, еще на сантиметр продвинулся к естественному его завершению.

В это утро, однако, он был рад, что проснулся поздно, потому что до сих пор не понимал, как истолковать события вчерашнего вечера, а теперь можно будет обдумать их на свежую голову. Он позвонил, и ему принесли яйца, тосты и чай, позавтракал в постели, читая утренние газеты: еще какие-то беспорядки в Колониях, детали неясны; завиральное эссе эксцентричного филантропа с довольно радикальными взглядами, задающего вопрос, не следует ли предоставлять гражданство неграм, которые жили на территории Свободных Штатов еще до их провозглашения; длинная статья, уже девятая за последние девять месяцев, восславляющая десятую годовщину завершения строительства Бруклинского моста, рассуждающая о том, как мост изменил движение коммерческого транспорта, на этот раз с большой, тщательно выписанной иллюстрацией, изображающей его массивные пилоны, нависающие над рекой. После этого он умылся, оделся и вышел из дому, предупредив Адамса, что будет обедать в клубе.

День был прохладным и солнечным, позднее утро пружинило веселой энергией: было еще достаточно рано для трудов и надежд – возможно, именно сегодня жизнь сделает крутой и

долгожданный поворот к чему-то прекрасному, выпадет внезапная удача, закончится южный конфликт или, может быть, на ужин вдруг подадут два ломтика бекона вместо одного – и все-таки не так поздно, чтобы эти надежды снова показались пустыми. Он часто шел без определенной цели, давая ногам самим выбирать направление, и теперь повернул направо на Пятую авеню, кивнув на ходу извозчику, который запрягал бурую лошадку у каретного двора.

Дом. Сейчас, не находясь в его стенах, он надеялся поразмышлять о нем более беспристрастно, хотя что значит “беспристрастно”? Раннее детство он провел не в этом доме, как и все они, – эта честь выпала большому холодному особняку на севере, к западу от Парк-авеню. Но в дом на Вашингтонской площади он с сестрой и братом и их родители до них приезжали на важные семейные сборы, и когда родители умерли, когда их унесла болезнь, всех троих перевезли сюда. Им пришлось оставить в старом доме все, что было сделано из ткани или бумаги, все, в чем могли таиться блохи, все, что можно было сжечь; он помнил, как рыдал о кукле из конского волоса, которую особенно любил, и дедушка обещал купить точно такую же, и потом как они все трое вошли каждый в свою комнату на Вашингтонской площади, их прежняя жизнь была восстановлена для них в малейших деталях – их куклы, игрушки, одежды, книжки, их коврики, платья, пальто, подушки. На гербе братьев Бингем было начертано *Servatur Promissum* – “Держать слово”, – и в этот момент дети поняли, что девиз относится и к ним тоже, что дедушка выполнит любое свое обещание, и за те два десятка лет, которые они были на его попечении сначала детьми, потом взрослыми, он никогда не изменял своему слову.

Дедушка настолько несомненно оставался хозяином положения в той новой жизни, в которой они очутились, что позже Дэвиду казалось, будто их горе почти немедленно закончилось. Конечно, на самом деле так не могло быть, ни у него, ни у сестры и брата, ни у дедушки, внезапно потерявшего свое единственное дитя, но Дэвид был настолько потрясен абсолютной несокрушимостью дедушки, его полной властью над их маленькой вселенной, что теперь не мог думать о тех годах иначе. Все сложилось так, как будто дедушка всегда, с самого их рождения, предполагал стать однажды их опекуном и перевезти их в свой дом, где он до этого жил один, единолично определяя ход своей жизни; словно все это не свалилось на него внезапно. Позже у Дэвида появилось ощущение, что дом, и без того просторный, отрастил новые комнаты, новые крылья и ниши, которые словно по волшебству явили себя специально для них, и комната, которую он до сих пор называл своей (и в которой жил сейчас), соткалась из воздуха, из необходимости в ней, а не была переделана из какой-то заброшенной малой гостиной. Все эти годы дедушка говорил, что внуки вдохнули в дом жизнь, что без них он был бы просто нагромождением комнат, и, к его чести, все трое детей, даже Дэвид, поверили в это и были искренне убеждены, что преподнесли дому – а значит, и самой дедушкиной жизни – драгоценный и важный дар.

Он полагал, что каждый из них считал дом своим, но ему нравилось воображать, что по настоящему это именно его логово, место, где он не просто живет, но где его понимают. Теперь, будучи взрослым, он иногда осознал, как видится дом со стороны: хорошо организованное и вместе с тем эксцентричное пространство, наполненное вещами, которые дедушка собирал во время своих путешествий по Англии и континенту, и даже в Колониях, где он провел некоторое время в короткий мирный период, – но в основном Дэвид видел дом так же, как в детстве, когда мог проводить часы, перемещаясь с этажа на этаж, выдвигая ящики и открывая дверцы буфетов, заглядывая под кровати и диваны, чувствуя голыми коленями прохладную гладкость деревянных половиц. Он ясно помнил, как маленьким мальчиком лежал в кровати однажды поздним утром, наблюдая, как свет струится в окно, и понимая, что его место – здесь, и эта мысль внушала успокоение. Даже позднее, когда он не мог выйти из дому, из этой комнаты, когда жизнь его оказалась ограничена кроватью, дом продолжал казаться убежищем: стены не только сдерживали все ужасы мира, но и не давали распасться ему самому. Теперь дом будет

принадлежать ему, а он дому, и Дэвид впервые почувствовал, что стены давят на него – теперь отсюда нет выхода, дом владеет им не меньше, чем он домом.

Такие мысли занимали его, пока он шел к Двадцать второй улице, и хотя ему вовсе не хотелось в клуб – он бывал там все реже и реже, не желая встречаться с бывшими соучениками, – голод заставил Дэвида войти внутрь, где он заказал чай, хлеб и колбаски и быстро съел все это, после чего снова зашагал на север, вдоль всего Бродвея, к южной части Центрального парка, и только потом повернулся и пошел домой. Когда он вернулся на Вашингтонскую площадь, было уже начало шестого, небо снова окрасилось темно-синим – оттенок одиночества, и он только успел переодеться и привести себя в порядок, как услышал внизу голос дедушки, который что-то говорил Адамсу.

Он не ожидал, что дедушка заговорит о событиях вчерашнего вечера, особенно в присутствии слуг, но даже когда они перешли к напиткам и остались одни в дедушкиной гостиной, дедушка продолжал говорить только о банке, о повседневных делах, о новом клиенте – владельце целого флота кораблей с Род-Айленда. Мэтью принес чай и бисквитный торт, густо покрытый ванильной глазурью; кухарка специально для Дэвида украсила его полосками засахаренного имбиря, к которому он питал слабость. Дедушка съел свой кусок аккуратно и быстро, но Дэвид не мог толком насладиться тортом, потому что все ждал, когда же дедушка упомянет вчерашнюю беседу, и боялся, что сам случайно сболтнет что-нибудь лишнее, как-то обнаружит свои смешанные чувства, покажется неблагодарным. Наконец дедушка, дважды пыхнув трубкой, сказал, не глядя на него: – Дэвид, я хотел с тобой обсудить еще кое-что, но, конечно, не во вчерашней суете.

Здесь было бы уместно еще раз сказать спасибо, но дедушка отмахнулся, пуская дым из своей трубки: – Не надо благодарностей. Дом твой. Ты ведь его любишь. – Да, – начал Дэвид, все еще думая о тех странных чувствах, которые испытал сегодня на прогулке, когда несколько кварталов шел, пытаясь понять, отчего перспектива получить дом наполняет его не чувством безопасности, а паникой. – Но... – Но что? – спросил дедушка, теперь уже на его лице читалось странное выражение, и Дэвид, боясь, что в голосе его прозвучало сомнение, торопливо продолжил: – Я только беспокоился об Иден и Джоне, вот и все.

На это дедушка лишь снова махнул рукой. – С Иден и Джоном все будет в порядке, – бросил он отрывисто. – Тебе нечего о них беспокоиться.

– А тебе нечего беспокоиться обо мне, дедушка, – сказал он с улыбкой, на что дедушка ничего не ответил, и оба они смутились от лжи такой огромной и очевидной, что даже приличия не требовали возражений. – Для тебя есть брачное предложение, – нарушил молчание дедушка, – хорошая семья, Гриффиты из Нантакета. Они начинали, конечно, как кораблестроители, но теперь у них собственный флот и небольшая, но прибыльная меховая торговля. Джентльмена зовут Чарльз, он вдовец. Его сестра – тоже вдова – живет с ним, они вместе воспитывают ее троих сыновей. Торговый сезон он проводит на острове, а зимой живет на Кейп-Коде. Сам я не знаком с этой семьей, но у них очень хорошее положение в обществе – связи с местным правительством, а брат мистера Гриффита, который вместе с ним и с сестрой управляет их делами, председатель торгового товарищества. Есть еще одна сестра, она живет на Севере. Мистер Гриффит самый старший из всех, родители их живы, бизнес начали бабушка и дедушка с материнской стороны. Предложение поступило к Фрэнсис через их юристов.

Дэвид почувствовал, что должен что-нибудь сказать. – Сколько лет джентльмену?

Дедушка прочистил горло и неохотно ответил: – Сорок один. – Сорок один! – воскликнул Дэвид с большим ужасом, чем намеревался. – Простите. Но сорок один год! Он же старик.

На это дедушка улыбнулся. – Не совсем, – ответил он. – Не для меня. И не для большинства людей в мире. Но да, он старше. Старше тебя, по крайней мере. – Дэвид ничего не ответил, и дедушка продолжал: – Дитя мое, ты знаешь, я не хочу женить тебя против твоей воли. Но мы с тобой это обсуждали, ты проявил интерес, иначе бы я не стал рассматривать их предложение.

Сказать Фрэнсис, что ты отказываешь? Или все-таки назначить встречу? – Я чувствую, что становлюсь тебе в тягость, – пробормотал он наконец. – Нет, не в тягость, – ответил дедушка. – Как я и говорил, ни один из моих внуков не будет вынужден жениться, если сам не захочет. Но мне кажется, ты мог бы подумать об этом. Мы не обязательно должны ответить прямо сейчас.

Они сидели в молчании. На самом деле прошло много месяцев – около года – с тех пор, как кто-либо проявлял интерес, не говоря о предложении, хотя Дэвид не знал, потому ли это, что он с такой поспешностью и безразличием отверг двух последних кандидатов, или же просочились слухи о его недомогании, которое они с бабушкой так тщательно скрывали. Идея женитьбы и в самом деле его в какой-то мере пугала, но разве предложение от совсем незнакомой семьи – не повод для беспокойства? Да, они, конечно, занимают подходящее положение – будь это не так, Фрэнсис бы не посмела передать предложение бабушке, – но это значило также, что бабушка и Фрэнсис решили выйти за пределы круга людей, которых Бингемы знали, с которыми общались, – тех пятидесяти с лишним семей, которые построили Свободные Штаты, среди которых не только он, его брат и сестра, но и родители и бабушка провели свою жизнь. К этому маленькому сообществу принадлежали и Питер, и Элиза, но уже стало очевидно, что он, старший брат и наследник, вознамерившись жениться, вынужден будет выбрать спутника жизни за пределами этого золотого круга, ему придется искать себе пару среди чужих. Бингемы не были высокомерны, не отгораживались, они не относились к тем, кто не станет иметь дело с купцами и торговцами, с людьми, которые начали свою жизнь в одном общественном слое, но благодаря трудолюбию и способностям оказались в другом. Так могла бы вести себя семья Питера, но не они. И все же он не мог не чувствовать, что подводит семью и что наследие его предков, ради которого они так неустанно трудились, будет умалено по его вине.

И еще он чувствовал, несмотря на уверения бабушки, что нельзя сразу отклонить предложение. Он сам был виноват в своем нынешнем положении, и само появление Гриффита говорило о том, что возможности его не бесконечны, даже при их имени и деньгах. Поэтому он сказал бабушке, что согласен на встречу, и бабушка – вот это выражение на его лице, что это, как не плохо скрытое облегчение? – ответил, что немедленно сообщит Фрэнсис.

Он как-то сразу устал и, извинившись, ушел к себе. Хотя комната неузнаваемо изменилась по сравнению с тем временем, когда он сюда вселился, он знал ее так хорошо, что легко ориентировался в темноте. Вторая дверь вела в помещение, которое они с братом и сестрой использовали когда-то для игр, теперь это был его кабинет, и именно туда он отправился с конвертом, который бабушка дала ему, прежде чем попрощаться на ночь. Внутри была небольшая гравюра – портрет Чарльза Гриффита, – и он принялся пристально разглядывать ее при свете лампы. Мистер Гриффит был светловолос, со светлыми бровями, мягким округлым лицом, с пушистыми, хотя и не чрезмерно пышными усами; Дэвид видел, что он коренаст, даже по этому изображению, которое показывало только лицо, шею и разворот плеч.

Внезапно его охватила паника, он подошел к окну, быстро отворил его и вдохнул холодный, чистый воздух. Уже поздно, вдруг понял он, гораздо позднее, чем ему казалось, внизу ни души. Неужели ему предстоит покинуть Вашингтонскую площадь, хотя только что он с тягостным чувством воображал, что, возможно, останется здесь навсегда? Он повернулся и оглядел комнату: полки с книгами, мольберт, письменный стол с бумагой и чернилами, кушетка, которую он приобрел еще в студенческие годы, чья алая обивка несколько обтрепалась с годами, шарф из мягчайшей шерсти с вышитыми турецкими огурцами – бабушкин подарок на позапрошлом Рождестве, специально заказанный из Индии, – все здесь было устроено для его удобства, или удовольствия, или для того и другого; он попытался представить себе каждый предмет в деревянном доме в Нантакете – и себя там.

Но не смог. Место этим вещам было здесь, в этом доме, как будто дом сам их вырастил, как будто они были живыми и могли зачахнуть и умереть, если переместить их. А потом он подумал: разве не так же обстоит дело и со мной? Ведь и меня этот дом если не породил, то

вскормил и вырастил? Если покинуть Вашингтонскую площадь, как найти себе место в этом мире? Как покинет он эти стены, которые неизменно, безотрывно смотрели на него в любом его состоянии? Как покинет он эти половицы, которыми поскрипывал дедушка среди ночи, сам принося ему бульон или лекарство в те месяцы, когда он не мог выйти из комнаты? Это место не всегда было радостным. Иногда оно было ужасным. Но какой еще дом сможет он чувствовать настолько своим?

Глава 3

Раз в год, за неделю до Рождества, попечители Благотворительной школы и приюта Хирама Бингема приглашались на ленч в зал заседаний фирмы “Братья Бингема”. Подавали ветчину, сладости, печеные яблоки, пирожные с заварным кремом, а в заключение Натаниэль Бингем, главный патрон приюта и владелец банка, появлялся собственной персоной в сопровождении двух клерков – выпускников школы, являвших собой обещание той невообразимой взрослой жизни, которая все еще была для детей слишком отдаленной и туманной (а для большинства, увы, такой и останется). Мистер Бингем выступал с короткой речью, призывая воспитанников усердно трудиться и слушать старших, а потом дети строились в два ряда, и каждый получал от одного из двух клерков большую плитку мятного шоколада.

Все трое внуков непременно присутствовали на ленче, и Дэвид больше всего любил даже не тот момент, когда дети замечали приготовленные лакомства, а выражения их лиц, когда они вступали в вестибюль банка. Он понимал их почтительное восхищение, поскольку сам испытывал его каждый раз – неоглядный простор пола из серебристого мрамора, натертого до зеркального блеска, ионические колонны, вытесанные из того же камня, огромный купол потолка, выложенный сверкающей мозаикой; три стены, расписанные до самого верха – так, что приходилось благоговейно запрокидывать голову, чтобы рассмотреть их как следует: на первой был изображен прапрапрадед Эзра, герой войны, отличившийся в битве за независимость от Британии, на второй – прапрапрадед Эдмунд, марширующий на север, из Виргинии в Нью-Йорк, вместе с несколькими товарищами-утопianцами, чтобы основать будущие Свободные Штаты. На третьей – избрание его прапрадеда Хирама, которого он никогда не видел, основателя фирмы “Братья Бингема”, мэром Нью-Йорка. На заднем плане всех этих панелей, выдержанных в коричневых и серых тонах, можно было различить эпизоды семейной истории и истории страны: осада Йорктауна, в которой сражался Эзра, оставив жену и маленьких сыновей дома в Шарлотсвиле; Эдмунд в день бракосочетания со своим мужем Марком и первые войны с Колониями, в которых победят Свободные Штаты, хотя и с большими финансовыми и человеческими потерями; Хирам и его два брата, Дэвид и Джон, совсем юные, не подозревающие о том, что из них троих только самый младший, Хирам, перешагнет сорокалетний рубеж и только он произведет на свет наследника – Натаниэля, дедушку Дэвида. Внизу каждой панели красовалась мраморная табличка с одним-единственным словом, и три слова – “учтивость, смирение, человечность” – вместе с надписью на гербе составляли семейный девиз Бингемов. Четвертая панель, расположенная над входными дверями, выходящими на Уолл-стрит, была пуста, гладкий мрамор ждал, когда на нем в свой черед будут запечатлены деяния дедушки Дэвида: как он превратил фирму “Братья Бингема” в самую процветающую финансовую организацию не только в Свободных Штатах, но во всей Америке; как, еще до того, как помог Америке финансировать борьбу в Повстанческой войне и обеспечил автономию страны, он успешно защищал Свободные Штаты от многочисленных попыток их распустить, отменить права их граждан; как он заплатил за перемещение свободных негров, попавших в Свободные Штаты, помогая им и другим беженцам из Колоний устроить свою жизнь где-нибудь на Севере или на Западе. Да, на сегодняшний день “Братья Бингема” уже не были единственной или даже самой могущественной финансовой компанией в Свободных Штатах, особенно учитывая, как процвели в последнее время еврейские банки и нувориши, обосновавшиеся в городе, но все бы согласились, что эта фирма – все еще самая влиятельная, самый престижная, самая известная. В отличие от вновь прибывших, любил говорить дедушка Дэвида, фирма “Братья Бингема” знает разницу между честолюбием и алчностью, между предусмотрительностью и прохиндейством; она несет ответственность не только перед своими клиентами, но и перед Свободными Штатами. Журналисты называли Натаниэля “великий мистер Бингем”, иногда насмешливо,

когда он принимался за какой-нибудь особенно масштабный проект – например, лет десять назад он предложил распространить всеобщее избирательное право на всю Америку, – но чаще вполне искренне, поскольку дедушка Дэвида был, бесспорно, великим человеком, человеком, чьи изображения и деяния были достойны украсить собой чистый мрамор, когда художник возьмется расписывать эту поверхность, балансируя на сооружении из веревок и досок, высоко над каменным полом, и, стараясь не глядеть вниз, станет водить кистью с блестящей краской.

Однако ни пятой, ни шестой панели не было – не было отведено место ни его отцу, второму военному герою в истории семьи, ни ему и его брату и сестре. И то сказать – что можно было бы изобразить на его трети такой панели? Человека, заточенного в дедушкином доме, ждущего, чтобы одно время года перешло в другое, чтобы жизнь его наконец объявила о себе?

Он знал, что такая жалость к себе непростительна и неподобающа, и он пересек вестибюль и приблизился к массивным дубовым дверям, ведущим в заднюю комнату, где его уже ждал дедушкин секретарь, которого все внуки, сколько он себя помнил, называли Норрисом. – Мистер Дэвид, давно не имела чести видеть вас. – Здравствуйте, Норрис, – ответил он. – Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо? – Да, мистер Дэвид. А вы? – Да, очень. – Джентльмен уже здесь, я отведу вас к нему. Ваш дедушка хотел повидаться с вами после встречи.

Он прошел вслед за Норрисом в коридор, обшитый деревянными панелями. Это был аккуратный, ухоженный мужчина с тонкими, изящными чертами лица, волосы его, которые Дэвид помнил золотыми, с годами выцвели до цвета пергамента. Дедушка обычно отличался прямолинейностью в обсуждении собственных дел и дел семьи, но о Норрисе он всегда говорил уклончиво; все считали, что между ними существуют особые отношения, но, несмотря на дедушкину подчеркнутую терпимость ко всем социальным классам и подчеркнутую нетерпимость к ханжеству, он никогда не представлял Норриса как своего компаньона и никогда не давал понять своим внукам или кому-либо иному, что их может что-то официально связывать. Норрис приходил и уходил, когда ему вздумается, но в доме у него не было своей комнаты, своей постели; с самого раннего детства младших Бингемов он обращался к ним, добавляя к имени “мастер” или “мисс”, и они давно уже перестали предлагать ему называть их просто по именам; он присутствовал на некоторых семейных сборах, но его никогда не приглашали на беседы в дедушкиной гостиной после трапезы, а также на Рождество и на Пасху. Даже сейчас Дэвид не знал толком, где живет Норрис – кажется, он как-то слышал, будто у Норриса есть квартира возле Грамерси-парка, которую ему когда-то купил дедушка, – а также не знал, откуда он родом, что у него за семья; Норрис приехал из Колоний до рождения Дэвида и, когда они познакомились с дедушкой, работал угольщиком в фирме “Братья Бингемы”. Теперь в обществе Бингемов он держался спокойно и ненавязчиво, но в то же время непринужденно – его присутствие подразумевалось, но и отсутствие не вызывало вопросов.

Норрис остановился перед кабинетом для частных переговоров и открыл дверь; там уже сидели мужчина и женщина, которые тут же встали со своих стульев и обернулись к входящим. – Я вас оставляю, – сказал Норрис, закрывая за собой дверь, а женщина подошла к Дэvidу. – Дэвид! – сказала она. – Я так давно тебя не видела.

Это была Фрэнсис Холсон, которая много лет исполняла обязанности поверенной в делах дедушки и, как и Норрис, была посвящена почти во все подробности жизни Бингемов. Она тоже была постоянной величиной, но ее положение на семейном небосклоне было одновременно более важным и более определенным – она устроила браки Джона и Иден и, судя по всему, намеревалась оказать эту же услугу Дэvidу. – Дэвид, – продолжила она, – разреши представить тебе мистера Чарльза Гриффита из Нантакета и Фалмута. Мистер Гриффит, вот молодой человек, о котором вы так много слышали, мистер Дэвид Бингем.

Он выглядел не таким старым, как опасался Дэвид, и, несмотря на светлые волосы, лицо его не было красным: Чарльз Гриффит был высоким и большим, но на уверенный лад – широким в плечах, с мощным торсом и шеей. Его пиджак был точно подогнан, а губы под усами ока-

зались твердо очерченными и до сих пор розовыми, и сейчас углы их приподнялись в улыбке. Он не был красив, нет, но в нем угадывалась живость, энергия, здоровье, и все вместе производило впечатление почти приятное.

И голос его, когда он заговорил, тоже оказался приятным: глубокий, как будто отороченный мехом. В нем звучала мягкость, нежность, которая контрастировала с массивной фигурой Чарльза и исходившим от него ощущением силы. – Мистер Бингем, – сказал он, когда они обменялись рукопожатием. – Рад познакомиться. Я столько о вас слышал. – А я о вас, – сказал Дэвид, хотя на самом деле он не очень много узнал после того первого разговора, когда впервые услышал о Чарльзе почти полтора месяца назад. – Спасибо, что проделали такой путь. Надеюсь, поездка была приятной? – Да, вполне, – ответил Гриффит. – И пожалуйста, зовите меня Чарльз. – А вы меня Дэвид. – Ну что ж, – сказала Фрэнсис. – Джентльмены, я вас оставлю. Когда закончите, Дэвид, позвоните – Норрис проводит мистера Гриффита.

Они подождали, пока она уйдет и закроет за собой дверь, потом оба сели. Их разделял небольшой столик, на нем стояла тарелка с песочным печеньем и чайник, в котором был заварен – Дэвид определил по запаху – лапсанг-сушонг, безумно дорогой и трудно добываемый копченый чай, дедушкин любимый, который держали для особых случаев. Он знал, что таким образом дедушка пожелал ему удачи, и этот жест растрогал и одновременно опечалил его. Чарльз уже начал пить чай, и Дэвид тоже налил себе немного, и когда он поднял чашку к губам, Чарльз сделал то же самое, и они одновременно сделали глоток. – Очень крепкий, – заметил он, зная, что многим вкус этого чая кажется слишком интенсивным; Питер, который терпеть его не мог, сказал однажды, что пьешь как будто “прогоревший костер, только жидкий”.

Но Чарльз сказал: – Я очень люблю его. Он напоминает мне о пребывании в Сан-Франциско – там легко его найти. Дорого, конечно. Но не такая редкость, как здесь, в Свободных Штатах.

Это удивило Дэвида:

– Вы бывали на Западе? – Да. Это было – ох, двадцать лет тому назад. Мой отец тогда как раз возобновил партнерство на Севере с охотниками на пушного зверя, трапперами, а Сан-Франциско, конечно, к тому времени стал богатым городом. Он решил, что мне надо туда поехать, открыть там контору и начать продажи. Я так и сделал. Это было прекрасное время, я был молод, город рос, находиться там было большим удовольствием.

На Дэвида это произвело впечатление – он никогда не видел никого, кто бы прямо-таки жил на Западе. – Правда ли все, что рассказывают? – Многое. Там в воздухе есть что-то... нездоровое, вероятно. Легкомыслие. В этом есть опасность – так много людей, которые пытаются заново выстроить свою жизнь, так многие жаждут богатства, так многих ждет разочарование. Но есть в этом и свобода. Хотя все там было ненадежно. Состояния быстро возникали и быстро исчезали, и люди тоже. Сегодня человек берет у тебя в долг, а завтра – поминай как звали, и найти его нет никакой возможности. Мы смогли продержаться три года, но, конечно, в семьдесят шестом пришлось уехать, после того, как они приняли законы. – И все-таки, – сказал Дэвид, – я вам завидую. Вы знаете, я никогда не был на Западе. – Но мисс Холсон сказала, что вы много путешествовали по Европе. – Да, съездил в гранд-тур. Но в этом точно не было ничего легкомысленного – если, конечно, не считать бесконечных Каналетто, Тинторетто и Караваджо.

Чарльз засмеялся, и после этого разговор стал более непринужденным. Они говорили о своих странствиях – Чарльз объездил удивительно много разных мест, торговля приводила его не только на Запад и в Европу, но и в Бразилию и в Аргентину – и о Нью-Йорке, ведь Чарльз когда-то жил здесь, часто приезжал и до сих пор держал здесь квартиру. Пока они беседовали, Дэвид вслушивался, стараясь уловить массачусетский выговор, какой был у некоторых его одноклассников, с широкими, плоскими гласными и особой галопирующей мелодией, но напрасно. Голос Чарльза был приятным, но лишенным каких-либо отличительных

черт, выдающих происхождение. – Я надеюсь, вы не сочтете за дерзость, если я скажу, – начал Чарльз, – что мы в Массачусетсе всегда находили весьма интригующей вашу традицию договорного брака. – Да, – рассмеялся Дэвид, ничуть не обидевшись. – Все другие штаты находят это странным. И я их прекрасно понимаю – это местная традиция, существующая только в Нью-Йорке и в Коннектикуте.

Договорные браки возникли примерно сто лет назад – таким образом первые семьи, обосновавшиеся в Свободных Штатах, создавали стратегические альянсы и консолидировали свои богатства.

– Я понимаю, почему они возникли здесь, в самых богатых регионах, – но почему эта традиция сохранилась, как вы думаете? – Не знаю даже. У моего дедушки есть теория, что, поскольку из этих браков зародились почтенные династии, традиция оказалась важна для финансовой целостности Штатов. Он говорит об этом так, как будто речь идет о выращивании деревьев. – Здесь Чарльз снова рассмеялся, и это был приятный звук. – Корневая система, благодаря которой нация растет и расцветает. – Для банкира очень поэтично. И патриотично. – Да, то и другое ему свойственно. – Что ж, я полагаю, остальные Свободные Штаты должны благодарить вашу приверженность договорным бракам за свое неувыдающее благосостояние.

Дэвид понимал, что Чарльз поддразнивает его, но голос его был добрым, и он улыбнулся в ответ: – Возможно. Я поблагодарю дедушку от вас и других массачусетцев. А разве вы в Новой Англии совсем это не практикуете? Я слышал, что у вас тоже есть договорные браки. – Да, но гораздо реже. Когда это случается, то мотивы все те же – объединить схожие семьи, – но последствия не такие значительные, как здесь у вас. Моя младшая сестра недавно устроила брак между своей горничной и одним из наших матросов, например, потому что у семьи горничной есть небольшая лесопилка, а у семьи матроса – производство веревок, и они хотели объединить свои ресурсы, не говоря уже о том, что молодые люди друг другу нравились, но были слишком застенчивы, чтобы самим начать процесс ухаживания. Но, как я и сказал, ничего такого, что было бы важно для судеб нации. Да, пожалуйста, поблагодарите от нас своего дедушку. Хотя, кажется, надо бы поблагодарить и ваших сестер и брата, мисс Холсон сказала, что оба они заключили браки таким образом. – Да, их семьи близки нашей: Питер, муж моего брата, тоже из Нью-Йорка, а Элиза, жена сестры, – из Коннектикута. – У них есть дети? – У Джона и Питера один, у Иден и Элизы двое. А вы, как я понимаю, помогаете растить племянников? – Да, и я очень к ним привязан. Но мне хотелось бы со временем завести и собственных детей.

Он знал, что нужно согласиться, сказать, что он тоже мечтает о детях, но обнаружил, что не в состоянии это выговорить. Впрочем, Чарльз легко заполнил паузу, образовавшуюся на месте ожидаемой реплики, и они заговорили о его племянниках, сестрах, брате, о доме в Нантакете, и беседа текла легко, пока Чарльз наконец не поднялся, и Дэвид встал вслед за ним. – Мне пора, – сказал Чарльз. – Но я прекрасно провел время, я рад, что вы согласились со мной встретиться. Я приеду обратно в город через две недели, надеюсь, вы согласитесь еще раз со мной увидеться?

– Да, разумеется, – ответил Дэвид и позвонил в колокольчик, и они снова обменялись рукопожатием, прежде чем Норрис проводил Чарльза к выходу, а Дэвид постучал в дверь в противоположном конце комнаты и, услышав приглашение войти, вошел прямо в кабинет дедушки. – О! А вот и ты! – сказал дедушка, вставая с кресла у письменного стола и передавая секретарше пачку бумаг. – Сара... – Да, сэр, сию минуту, – отозвалась Сара и вышла, бесшумно затворив за собой дверь.

Дедушка вышел из-за письменного стола и сел в одно из кресел, которые стояли напротив, жестом указывая Дэvidу на второе. – Что ж, не буду говорить обиняками и, надеюсь, ты тоже, – сказал дедушка. – Я хотел увидеть тебя и узнать, каковы твои впечатления о джентль-

мене. – Он... – начал Дэвид и запнулся. – Он приятный, – сказал он наконец, – приятнее, чем я ожидал. – Рад это слышать, – сказал дедушка. – И о чем же вы беседовали?

Он пересказал дедушке весь разговор, оставив на закуску ту часть, которая касалась пребывания Чарльза на Западе, и заметил, что дедушкины брови приподнялись. – Вот как? – проговорил дедушка вкрадчиво, и Дэвид понял, о чем он думает: эта информация не всплыла в ходе расследования жизни Чарльза Гриффита; и поскольку “Братья Бингемы” имели доступ к выдающимся представителям всех профессий – врачам, адвокатам, частным детективам, – он теперь размышлял, чего еще они не знают, какие секреты остались нераскрытыми. – Ты встретишься с ним еще? – спросил дедушка, когда Дэвид закончил свой рассказ. – Он вернется через две недели и спрашивал, сможет ли снова меня увидеть. Я сказал да.

Он думал, что дедушка останется доволен ответом, но тот встал, с задумчивым выражением лица подошел к одному из огромных окон и стал смотреть на улицу, слегка поглаживая край тяжелой шелковой занавеси. Мгновение он стоял так в молчании, но когда повернулся к Дэvidу, на лице его снова была улыбка, та знакомая, любимая улыбка, которая всегда заставляла Дэвида почувствовать себя лучше, в каком бы отчаянном положении он ни находился. – Что ж, – сказал дедушка. – Ему очень повезло.

Глава 4

Недели проходили быстро, как это всегда бывает поздней осенью, и хотя, конечно, Рождество не наступало совсем неожиданно, все же оно неизменно заставляло их врасплох, как бы страстно они ни клялись год назад, что уж на следующий год подготовят все заранее и уж к этому Дню благодарения все меню будут продуманы, все подарки детям куплены и перевязаны лентами, конверты с деньгами для слуг запечатаны и все украшения развешаны по дому.

Как раз в разгар всей этой суеты, в начале декабря, он второй раз встретился с Чарльзом Гриффитом: они вместе пошли на концерт ранних произведений Листа в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра, а потом отправились на север, в кафе на южной стороне Парка – Дэвид иногда заходил туда во время своих странствий по городу, чтобы выпить кофе с пирожным. На этот раз беседа текла легко, они говорили о книгах, которые прочли, о спектаклях и выставках, на которых побывали, и о семье Дэвида – о дедушке и немного о сестре и брате.

Договорные браки неизбежно требовали ускоренного сближения и, следовательно, освобождения от определенных условностей, поэтому через некоторое время Дэвид осмелел и спросил Чарльза о его бывшем муже. – Что ж, – сказал Чарльз. – Я полагаю, что ты уже знаешь его имя – Уильям, Уильям Хоббс, он умер девять лет назад. – Дэвид кивнул. – Это был рак, он начался в горле и очень быстро убил его. Он был учителем в маленькой школе в Фалмуте, из семьи ловцов омаров на Севере – мы познакомились вскоре после того, как я вернулся из Калифорнии. Это было, кажется, очень счастливое время для нас обоих – я вместе с братом и сестрой учился управлять семейным делом, мы оба были молоды и жаждали приключений. Летом, когда в школе были каникулы, он приезжал со мной в Нантакет, где мы все – младшая сестра с мужем и сыновьями, брат с женой и дочерьми, наши родители, еще одна сестра с семьей, приезжавшие с Севера, – жили вместе в нашем семейном доме. В один год отец послал меня на границу встретить нескольких наших трапперов, и мы провели почти весь сезон в Мэне и Канаде с деловыми партнерами, переезжая с места на место, там очень красивые места. Я думал, что мы будем вместе всю жизнь. Детей мы хотели завести позже – мальчика и девочку. Мечтали поехать в Лондон, в Париж, во Флоренцию – он был гораздо образованнее меня, и я хотел показать ему фрески и статуи, о которых он читал всю свою жизнь. Я радовался, что именно со мной он придет в эти музеи. Я мечтал об этом – как мы будем заходить в соборы, есть мидии у реки, поедем в те места, которые мне казались особенно красивыми, но я не умел оценить их так, как сумел бы он, и я знал, что вместе с ним увижу их по-новому. Если ты был матросом или провел много времени с моряками, то знаешь, что строить планы – безумие, Бог распорядится по-своему и твои планы ему не указ. Я все это знал, но не мог сдержаться. Я знал, что это глупо, но не мог сдержаться – все мечтал и мечтал. Я придумал, как построю нам дом на скале, с видом на скалы и море, а вокруг будут цвести люпины. А потом он умер, а через год умер муж моей младшей сестры, в эпидемии восемьдесят пятого года, и с тех пор, как ты знаешь, я жил с ней. Первые три года после того, как я лишился Уильяма, меня полностью поглотила работа, я находил в ней утешение. Но, как ни странно, чем больше времени проходит с его смерти, тем больше я о нем думаю, и не только о нем, но и о тех узах, которые нас связывали – и, как я воображал, должны были связывать всегда. А теперь племянники мои почти выросли, сестра обручилась, и в последние годы я понял, что...

И тут Чарльз замолчал. Щеки его пылали. – Я говорил слишком долго и слишком прямо, – сказал он наконец. – Надеюсь, ты примешь мои извинения. – Нет никакой нужды в извинениях, – тихо сказал Дэвид, хотя на самом деле был удивлен, пусть и не смущен, такой прямоотой – это было почти признание в одиночестве. Но после этого ни один из них не знал, как продолжить беседу, и вскоре встреча подошла к концу – Чарльз поблагодарил его очень

церемонно, не назначая третьего свидания, и они оба облачились в свои пальто и шляпы. Потом Чарльз укатил на север в экипаже, а Дэвид зашагал на юг, на Вашингтонскую площадь. По возвращении он обдумал эту странную встречу и решил, что, несмотря на странность, ее нельзя назвать неприятной, он даже почувствовал какую-то свою значительность – трудно было подобрать другое слово, – ведь ему доверились, позволили увидеть такую уязвимость.

И он оказался не так подготовлен, как мог бы быть, когда в малой гостиной после рождественского обеда (утка, прямо из печи, с хрустящей кожицей в пупырышках, окруженная, словно жемчужинами, алыми ягодами смородины) Джон вдруг заявил с победным видом: – Так, значит, Дэвид, за тобой ухаживает джентльмен из Массачусетса. – Это не ухаживание, – быстро ответил дедушка. – Значит, предложение? И кто же он?

Он позволил дедушке сообщить лишь самый поверхностный набор фактов: судостроитель и торговец, Кейп и Нантакет, вдовец, без детей. Элиза заговорила первой. – Все это звучит очень обещающе, – сказала она весело – милая, добродушная Элиза, в своих серых шерстяных брюках и длинном шелковом шарфе с восточным узором, завязанным на полной шее, – остальные члены семьи сидели в молчании. – Ты переедешь в Нантакет? – спросила Иден. – Не знаю, – ответил Дэвид. – Я об этом не думал. – Значит, ты еще не принял предложение, – сказал Питер; это было скорее утверждение, чем вопрос. – Нет. – Но собираешься? – (Снова Питер.) – Не знаю, – ответил он, все больше приходя в замешательство. – Но если... – Довольно, – сказал дедушка. – Сейчас Рождество. И кроме того, это решение должен принять Дэвид, а не мы.

Вскоре они стали расходиться, и его сестра и брат пошли собирать детей и нянь, которые играли в комнате Джона – она теперь была превращена в игровую, – потом последовали прощания, пожелания, и они снова остались вдвоем с дедушкой. – Пойдем со мной, – сказал дедушка, и Дэвид пошел за ним и занял свое обычное место в дедушкиной гостиной, напротив дедушки, немного левее. – Я не хотел бы проявлять излишнее любопытство, но мне интересно: вы встретились уже дважды. Как ты полагаешь, склонен ли ты принять предложение этого джентльмена? – Я знаю, что должен понимать это, но пока не понимаю. Иден и Джон так быстро приняли решение. Я хотел бы знать, быть решительнее, как они. – Тебе не нужно сейчас думать о том, как поступили Иден и Джон. Ты не они, и решения такого рода не следует принимать наспех. Единственное, что от тебя требуется, – серьезно поразмыслить над предложением джентльмена, и если ответ отрицательный, уведомить его незамедлительно или передать через Фрэнсис, хотя после двух встреч это, пожалуй, нужно сделать напрямую. Но ты можешь взять время на раздумье и не терзаться этим. Когда шли переговоры о твоих родителях, твоя мать приняла предложение лишь через полгода. – Он слегка улыбнулся. – Не то чтобы я ставил ее в пример.

Дэвид тоже улыбнулся. Но потом задал вопрос, ответ на который должен был узнать: – Дедушка, что он знает обо мне?

И когда дедушка не ответил, а вместо этого вперился взглядом в свой стакан с виски, Дэвид решился продолжить:

– Он знает о моих... недомоганиях? – Нет, – резко ответил дедушка, задирая подбородок. – Не знает и не должен знать – это не его дело. – Но разве это не двуличие – скрыть от него? – Конечно нет. Двуличие – это если бы ты намеренно скрыл что-то важное, а тут незначительная информация, не такая, которая должна повлиять на его решение. – Может, и не должна, но вдруг повлияла бы? – Тогда он был бы человеком, с которым в любом случае нельзя связывать свою жизнь.

Дедушкина логика, обычно непогрешимая, настолько страдала в этом утверждении, что даже если бы Дэвид имел привычку ему противоречить, то не стал бы, из страха, что вся возведенная им конструкция рассыпется в прах. Если его “недомогания” не важны, то зачем их замалчивать? И если это позволит судить об истинном характере Чарльза Гриффита, то почему бы не рассказать ему обо всем правдиво, ничего не скрывая? Более того, если его болезни не

следует стыдиться, то почему они оба так тщательно скрывают эти эпизоды? Правда, они и сами не все смогли узнать заранее о Чарльзе – дедушка ворчал, что его пребывание в Сан-Франциско оказалось полной неожиданностью, – но все, что они смогли узнать, было просто и прямолинейно. Не было никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз – благородный человек.

Его беспокоило, что дедушка, возможно сам не осознавая этого, – возможно, его даже оскорбило бы подобное предположение – решил, что слабость Дэвида – это то обременение, которое Чарльз должен по справедливости нести за возможность вступить в брак с Бингемом. Да, Чарльз был состоятелен, хотя и не так богат, как Бингемы – а кто мог сравниться с ними? – но это были новые деньги. Да, он был умен, но не образован; он не посещал колледж, не знал латыни и греческого, он объездил мир не в погоне за знаниями, а по делам фирмы. Да, он был человеком опытным, но не утонченным. Дэвид считал, что сам он не верит в такие вещи, но его беспокоило, что, возможно, в глазах дедушки он обладает дефектом, который каким-то образом сводит баланс: его болезнь уравнивает недостаточную рафинированность Чарльза. Его бездеятельность компенсирует немолодые годы Чарльза. И в конце концов выходит одно на другое, ноль, единожды подчеркнутый чернильной линией, дедушкиной рукой? – Скоро настанет Новый год, – сказал дедушка, прервав молчание. – А новый год всегда мудренее старого. Ты примешь решение, скажешь да или нет, а годы будут начинаться и заканчиваться, начинаться и заканчиваться, что бы ты ни решил.

После этих слов Дэвид понял, что ему пора, встал и наклонился, чтобы поцеловать дедушку на ночь, прежде чем подняться в свою комнату.

И скоро, слишком скоро Новый год почти уже наступил, и Бингемы собрались в очередной раз, чтобы приветствовать его, подняв бокалы. Такова была их традиция: в конце года они приглашали всех слуг выпить шампанского с семьей в столовой, и они все вместе – внуки и правнуки, горничные и лакеи, кухарка, и дворецкий, и экономка и кучер, и их многочисленные подчиненные – стояли вокруг стола, куда горничные заранее поставили бутылки с шампанским в хрустальных сосудах со льдом, и пирамиды апельсинов, пронзенных шпажками гвоздики, и блюда с жареными орехами, и тарелки со сладкими рождественскими пирожками, и слушали, как дедушка приветствует новый год: “Еще шесть лет до двадцатого века!” – объявил дедушка, и слуги нервно захихикали: они не любили перемен и неопределенности, и мысль о конце одной эпохи и начале другой внушала им страх, хотя они знали, что в доме на Вашингтонской площади ничего не изменится – Дэвид будет жить все в той же комнате, его брат и сестра будут приходить и уходить, а Натаниэль Бингем будет их хозяином во веки веков.

Через несколько дней после празднования Дэвид взял экипаж и отправился в приют. Это было одно из первых учреждений такого рода в городе, и Бингемы были первыми его патронами со дня основания, всего через несколько лет после основания самих Свободных Штатов. В течение десятилетий количество воспитанников то уменьшалось, то увеличивалось, по мере того как Колонии проходили через периоды относительного процветания и нарастающей бедности; путешествие на Север было трудным и полным опасностей, и многие дети успевали осиротеть, когда их родители погибали в пути, пытаясь добраться до Свободных Штатов. Худший период был тридцать лет назад, во время и сразу после Повстанческой войны, перед самым рождением Дэвида, когда количество беженцев в Нью-Йорке достигло пика и губернаторы Нью-Йорка и Пенсильвании послали пехотинцев к южной границе Пенсильвании с гуманитарной миссией: найти и переместить беженцев из Колоний. Все дети, оставшиеся без родителей – или с родителями, которые явно не могли о них заботиться, – были, в зависимости от возраста, направлены или в одну из торговых школ Свободных Штатов, или в одно из благотворительных учреждений, откуда их могли усыновить.

Как и в большинстве благотворительных заведений такого рода, в приюте Хирама Бингема было очень мало грудных и совсем маленьких детей – на них был такой спрос, что их

немедленно усыновляли; если младенец не был увечным, больным или умственно отсталым, он редко оставался в приюте больше месяца. И брат, и сестра Дэвида взяли своих детей именно отсюда, и если сам Дэвид захотел бы иметь наследника, он бы тоже нашел его здесь. Сын Джона и Питера был сиротой из Колоний; дети Иден и Элизы были спасены из убогой лачуги несчастных ирландских эмигрантов, которые едва могли их прокормить. Часто возникали оживленные споры, в газетах и в гостиных, о том, что делать со все увеличивающимся потоком эмигрантов, прибывающих к берегам Манхэттена – теперь из Италии, Германии, России, Пруссии, не говоря о Востоке, – но все соглашались, пусть и неохотно, что европейские эмигранты поставляют детей для пар, которые хотят их усыновить, не только в собственном городе, но и во всех Свободных Штатах.

Конкуренция за младенцев была столь яростной, что недавно правительство начало агитационную кампанию, пытаясь убедить граждан усыновлять детей постарше. Но она не имела особого успеха, и все, включая самих детей, понимали, что те, кому больше шести, почти наверняка не смогут обрести дом. Это означало, что приют Бингемов, как и другие подобные заведения, должен главным образом учить своих питомцев чтению и арифметике, чтобы они могли потом овладеть ремеслом; в четырнадцать они поступят учениками к портному или плотнику, к швее или кухарке или к кому-то еще из тех, чьи навыки так необходимы для процветания и жизнедеятельности Свободных Штатов. Или пойдут в ополчение или армию и там будут служить своей стране.

Но пока они дети, они, как всякие дети, должны посещать школу, как того требует закон Свободных Штатов. Новая философия образования предполагала, что дети вырастают в более здоровых и патриотичных граждан, если учить их не только самому необходимому (арифметике, чтению и письму), но также преподавать им музыку, искусства и спорт. И потому прошлым летом дедушка спросил Дэвида, не хочет ли он помочь в поисках учителя рисования для приюта, и Дэвид, к собственному удивлению, вызвался сам стать таким учителем – разве не изучал он столько лет изобразительное искусство? Разве не искал полезного приложения своим силам, чтобы занять досуг?

Он давал урок каждую среду, вечером, перед тем как дети отправлялись ужинать, и поначалу часто задавался вопросом, отчего они так ерзают и хихикают – он ли тому виной или ожидание скорого ужина, и даже хотел узнать у начальницы, нельзя ли ему начинать урок пораньше, но начальница обладала способностью внушать страх взрослым (хотя, как ни удивительно, питомцы ее обожали), и хотя ей пришлось бы выполнить его просьбу, он не решился подойти к ней. Он всегда неловко чувствовал себя с детьми, их немигающие пристальные взгляды как будто позволяли увидеть что-то, чего взрослые не могли или не брали на себя труд видеть; но со временем он к ним привык и даже привязался, и через несколько месяцев они стали держаться спокойнее и ровнее в его молчаливом присутствии, чиркая углем в своих блокнотах и стараясь по мере сил изобразить китайскую бело-синюю миску с айвой, которую он водрузил на табурет перед доской.

В тот день он услышал музыку еще до того, как открыл дверь, – что-то знакомое, популярную песенку, песенку, которую не подобало слушать детям, – и он потянулся к дверной ручке и резко повернул ее, но не успел выразить изумление или негодование – на него обрушились звуки и картины, от которых он застыл в неподвижности и немоте.

Он сразу же увидел пианино – дряхлое, обшарпанное пианино, которое прежде было сослано в самый дальний угол классной комнаты; древесина его растрескалась, и Дэвид был уверен, что оно совершенно расстроено. Но теперь оно было вычищено, приведено в порядок, выставлено на середину комнаты, как какой-нибудь роскошный рояль, и за ним сидел молодой человек, на несколько лет, должно быть, младше его самого, с темными волосами, зачесанными назад, словно сейчас вечер и он на каком-нибудь празднике; у него было живое, тонкое, кра-

сивое лицо и такой же красивый голос, которым он выводил: “Как же так вышло, дядя, о как? Где твои детки, где твой очаг?”

Голова юноши была запрокинута вверх, и шея его была длинной, но сильной и гибкой, словно змея, и Дэвид видел, как от пения на его шее движется мускул, будто жемчужина перекачивается под кожей вверх и вниз.

*Лампы сверкали в зале большом,
Мы с ненаглядной были вдвоем.
Не ожидая вовсе беды,
Я вдруг услышал: “Дай мне воды!”*

*Я возвращаюсь – с нею другой, Страстно обвил он стан
молодой...*

Это была низкопробная песенка, из тех, что поют в злачных местах, в мюзик-холлах и на шоу менестрелей, и оттого ее не следовало петь детям, и особенно этим детям, которые в силу обстоятельств были особенно склонны к такого рода сентиментальным развлечениям. И все же Дэвид не мог произнести ни слова – он был зачарован этим человеком, его низким, прекрасным голосом, не меньше, чем дети. Он слышал эту песню прежде, ее исполняли как вальс, приторный и жалостный, но это исполнение было веселым, бравурным, и оттого вся слезливая история – девушка спрашивает дядю, старого холостяка, почему он так и не влюбился, не женился, не завел детей, – превратилась в нечто лихое и насмешливое. Дэвид терпеть не мог эту песню, смутно подозревая, что однажды сможет спеть ее о себе самом, что такова его собственная неотвратимая судьба, но в этой версии рассказчик казался беспечным и даже самодовольным, как будто, так и не женившись, он не столько лишился великого блага, сколько избежал от незавидной участи.

*Бал уж окончен, скоро рассвет.
Пары не кружат, музыки нет.
Кто в этой жизни горя не знал?
Жизнь догорела, кончен мой бал.*

Молодой человек завершил исполнение победным аккордом, встал и поклонился аудитории – в классе сидело человек двадцать детей, слушавших его с восторгом и теперь бурно аплодировавших, – и Дэвид наконец опомнился и кашлянул.

В ответ молодой человек взглянул на него и улыбнулся такой широкой сияющей улыбкой, что Дэвид снова почувствовал замешательство. – Дети, – сказал молодой человек, – кажется, мы задержали ваш следующий урок. Нет, стонать не надо, это очень невежливо. – Дэвид вспыхнул. – Идите и приготовьте свои альбомы. А мы с вами встретимся через неделю.

Все еще улыбаясь, он направился к двери, у которой стоял Дэвид. – Довольно странный выбор песни для урока, – начал тот, пытаясь сохранять строгость, но юноша рассмеялся, ничуть не обиженный, как будто Дэвид просто его поддразнивал. – Можно и так сказать, – ответил он добродушно. И прежде чем Дэвид успел спросить, добавил: – Но я совсем забыл о приличиях, я не только задержал вас, вернее, ваших учеников – вы-то пришли вовремя! – но еще и не представился. Меня зовут Эдвард Бишоп, я новый учитель музыки в этом достойном заведении. – Вот как, – отозвался Дэвид, не понимая, как вышло, что он так быстро утратил власть над беседой. – Признаться, я был удивлен, когда услышал... – А я знаю, кто вы! – перебил его молодой человек, но с такой очаровательной теплотой, что Дэвид снова был совершенно обезоружен. – Вы – мистер Дэвид Бингем, из нью-йоркских Бингемов. Пожалуй, Нью-

Йорк упоминать излишне, да? Хотя мне казалось, что в Свободных Штатах есть еще одно семейство Бингемов. Четемские Бингемы, например. Или портсмутские Бингемы. Интересно, как они себя чувствуют, эти мелкие Бингемы, зная, что их имя всегда означает только одну семью, и они к ней не принадлежат, и потому обречены вечно всех разочаровывать, их каждый непременно спрашивает: “Те самые Бингемы?”, а им приходится отвечать: “Боюсь, что мы всего лишь ютиксские Бингемы”, и смотреть, как лицо собеседника вытягивается.

Дэвид потерял дар речи от этого потока слов, который обрушился на него с такой скоростью и весельем, что он только и смог чопорно выдавить: “Я никогда не думал об этом”, – на что молодой человек снова засмеялся, но негромко, как будто смеялся не над Дэвидом, а над чем-то остроумным, что сказал Дэвид, как будто между ними установились доверительные отношения.

Потом он положил руку на плечо Дэвиду и сказал все так же весело: – Что ж, мистер Дэвид Бингем, было очень приятно познакомиться с вами, и простите еще раз, что я нарушил ваше расписание.

После того как дверь за ним закрылась, из комнаты будто выпустили воздух: дети, которые только что казались бойкими и внимательными, вдруг понурились и загрустили, и даже Дэвид как-то ссутулился, словно тело его не могло больше изображать воодушевление и держать осанку, которой требовала деятельная жизнь.

Тем не менее он начал урок. – Добрый вечер, дети, – сказал он и, получив в ответ нестройное “Добрый вечер, мистер Бингем”, принялся устанавливать на табурете натюрморт: кремовую глазурованную вазу с веточками остролиста. Как всегда, он устроился на задней парте, чтобы можно было наблюдать за детьми и одновременно делать набросок, если захочется. Сегодня, однако, единственным предметом, который притягивал его внимание, было пианино, располагавшееся прямо за табуретом с его несчастным сооружением, и оно, несмотря на свою обшарпанность, казалось самым красивым, самым притягательным объектом: словно путеводная звезда, светящая чистым, манящим светом.

Он посмотрел на ученицу справа от себя, крошечную растрепанную девочку лет восьми, которая рисовала – довольно плохо – не только вазу с остролистом, но и пианино. – Элис, рисовать нужно только натюрморт, – напомнил он ей.

Она подняла голову – огромные глаза на остром маленьком личике, два передних зуба торчат, как куски кости, – прошептала “Прошу прощения, мистер Бингем” и вздохнула. Почему бы ей не рисовать и пианино тоже, раз уж он сам не в силах оторвать от него взгляд, как будто усилием воли сможет соткать из воздуха и пианиста, чей призрачный силуэт все еще, кажется, остается в комнате? – Ничего страшного, Элис, просто начни заново с чистого листа.

Вокруг него остальные дети были молчаливы и невеселы, он слышал, как они ерзают на скамьях. Глупо было расстраиваться из-за этого, но он был огорчен – ему всегда казалось, что им нравятся его уроки, по крайней мере настолько, насколько ему самому нравилось их учить, но, став свидетелем их недавнего веселья, он понял, что если раньше это и было так, то теперь не будет. Он стал всего лишь долькой яблока там, где Эдвард Бишоп – целое яблоко, запеченное в пирог с аппетитной корочкой, присыпанное сахаром, и после того, как они попробовали этот пирог, дороги назад уже нет.

В тот вечер за ужином он был погружен в себя, дедушка же, наоборот, оживлен – неужели все в мире так счастливы? – и хотя подавали его любимых жареных голубей с тушеными испанскими артишоками, Дэвид ел мало, и когда дедушка спросил, как спрашивал каждую среду, как прошло занятие, он только пробормотал “Хорошо, дедушка”, хотя обычно старался расшевелить его историями о том, что и как рисовали дети, и о чем они его спрашивали, и как он раздавал фрукты из натюрморта тем, кто нарисовал их лучше всех.

Но дедушка, казалось, не замечал его замкнутости, во всяком случае, ничего не сказал, и после ужина, когда Дэвид уныло плелся наверх в гостиную, ему неожиданно представился

Эдвард Бишоп: в этом неуместном видении, пока сам Дэвид собирался провести еще один вечер у камина, напротив дедушки, молодой человек веселился в клубе – Дэвид лишь однажды был в таком, – его длинная шея была обнажена, рот открыт в песне, а вокруг него были другие красивые юноши и девушки, все одетые в яркие шелка, вокруг царил праздник, воздух благоухал лилиями и шампанским, а сверху хрустальная люстра покачивалась и разбрасывала по комнате брызги света.

Глава 5

Шесть дней до следующего урока прошли даже медленнее обычного, и в следующую среду он от нетерпения приехал так рано, что решил прогуляться – успокоиться и убить время. Приют располагался в большом квадратном здании, простом, но ухоженном, между Западной двенадцатой и Гринвич-стрит – это местоположение стало менее благоприятным за те десятилетия, в течение которых в трех кварталах на север и в одном квартале на запад стали разрастаться районы борделей. Каждые несколько лет попечители обсуждали, не следует ли переместить приют, но в конце концов решали оставить его на прежнем месте, ибо сам дух города диктовал, чтобы очевидные противоположности – богатые и бедные, укоренившиеся и вновь прибывшие, невинные души и преступники – жили бок о бок, поскольку для четких территориальных разделений просто не хватало места. Он пошел на юг к Перри-стрит, а потом на запад и на север по Вашингтон-стрит, но, сделав круг дважды, понял, что даже для него нынче слишком холодно – пришлось прекратить прогулку и вернуться в экипаж, дуя на руки, чтобы взять привезенный с собой сверток.

Уже несколько месяцев Дэвид обещал детям, что позволит им нарисовать нечто необычное, но когда он сегодня отдавал этот предмет Джейн, чтобы она его завернула и завязала бечевкой, он осознал, что надеется: Эдвард Бишоп увидит, как он несет в руках такую громоздкую, странную вещь, и, возможно, будет заинтригован, останется посмотреть, как ее разворачивают, застынет в изумлении. Дэвид, конечно же, не мог похвалить себя за такие мысли или за то волнение, которое чувствовал, идя по коридору к классу: дыхание его сбивалось, сердце колотилось в груди.

Но когда он открыл дверь в классную комнату, там не было ничего – ни музыки, ни молодого человека, ни волшебства, – только его ученики играли, возились, кричали друг на друга, пока не заметили его и не стали толкать друг друга в бок, призывая к молчанию. – Добрый вечер, дети, – сказал он, приходя в себя. – А где ваш учитель музыки?

– Он теперь приходит по четвергам, сэр, – сказал один из мальчиков. – Вот как, – ответил Дэвид, чувствуя разочарование, словно железную цепь на шее, и стыдясь этого чувства. – Что в свертке, сэр? – спросил другой ученик, и Дэвид понял, что все еще стоит, прислонившись к двери, и сжимает предмет занемевшими пальцами. Вдруг все это показалось ему глупым фарсом, но он не принес им ничего другого, чтобы рисовать с натуры, и в комнате не из чего было составить композицию, так что он поставил предмет на учительский стол и осторожно развернул, обнаружив статую, гипсовую копию римского мраморного туловища. Оригинал дедушка купил еще в юности, в своем гранд-туре, и когда Дэвид начал учиться рисовать, со статуи сняли копию. Никакой материальной ценности скульптура не имела, но он часто рассматривал ее, и задолго до того, как увидел торс живого мужчины, и она научила его всему, что он знал об анатомии, о том, как мускулы покрывают кости, а кожа – мускулы, и о той единственной женственной складке, которая появляется на боку живота, когда наклоняешься в одну сторону, и о двух прямых штрихах, которые, как стрелы, указывают на промежность.

По крайней мере, дети заинтересовались, ему, кажется, удалось произвести на них впечатление, когда он водрузил статую на табурет, и он стал рассказывать о римской скульптуре: высочайшим выражением искусства художника было умение передать формы человеческого тела. Он наблюдал за тем, как они рисовали, опуская глаза на альбомный лист и снова бросая на статую быстрые цепкие взгляды, и вспоминал слова Джона, что эти уроки полная глупость: “Почему бы не научить их чему-то, что действительно пригодится им во взрослой жизни?” – вопрошал он. Не один Джон так думал, даже дедушка, при всей своей склонности потакать Дэвиду, считал, что это сомнительное, если не жестокое дело – прививать детям хобби и интересы, на которые у них, скорей всего, никогда не будет времени и тем более денег. Но Дэвид

считал иначе: он учит их занятию, которым можно наслаждаться, имея в своем распоряжении лишь лист бумаги и немного чернил или кусочек грифеля; и кроме того, говорил он дедушке, если бы слуги немного лучше разбирались в искусстве, понимали его ценность, возможно, они с большим вниманием, более бережно обращались бы с произведениями искусства в домах своих хозяев, когда протирают и начищают их, на что дедушка – припомнив все сокровища, нечаянно погубленные за долгие годы горничными и лакеями, – со смехом согласился, что, может быть, в этом что-то есть.

В тот вечер, посидев с дедушкой, он вернулся в комнату и стал вспоминать, как до этого, сидя в классе на заднем ряду и рисуя вместе с учениками, вообразил на месте гипсового бюста, водруженного на табурете, Эдварда Бишопа, и уронил карандаш, и заставил себя пройти по рядам, рассматривая работы учеников, чтобы отвлечься.

На другой день был четверг, и он старался придумать предлог, чтобы снова отправиться в школу, но тут оказалось, что Фрэнсис ждет его, чтобы разобраться с каким-то расхождением в конторских книгах фонда Бингема, который финансировал все их разнообразные проекты. У него не было никакого предлога отказаться, и, конечно, Фрэнсис это знала, поэтому пришлось отправиться в контору, и они вдвоем изучали столбцы цифр, пока не сообразили, что единица размазалась и стала напоминать семерку, что и привело к расхождениям в вычислениях. Единица превратилась в семерку: такая простая ошибка, но если бы они не нашли ее, то Альму бы допросили, а возможно, и уволили из фирмы Бингемов. Когда они закончили, было еще достаточно рано, чтобы добраться до школы к концу урока Эдварда, но дедушка попросил его остаться на чай, и снова у него не нашлось предлога отказаться – его праздность была так широко известна, что стала для него своего рода тюрьмой, расписанием в отсутствие расписания. – Ты как на иголках, – заметил дедушка, наливая чай ему в чашку. – Ты куда-то спешишь? – Нет, я не спешу, – ответил он.

Он ушел так быстро, как позволяла вежливость, забрался в экипаж и велел кучеру потопиться, пожалуйста, но когда они добрались до Западной двенадцатой улицы, было уже гораздо позже четырех и почти не оставалось надежды, что Эдвард так задержался, особенно в такую погоду. Тем не менее Дэвид попросил кучера подождать и целеустремленно зашагал к своему классу, а открывая дверь, закрыл глаза и затаил дыхание – и выдохнул, только ощутив тишину внутри.

И вдруг услышал голос: – Мистер Бингем, какой сюрприз!

Конечно, в глубине души он надеялся именно на это, и все-таки, открыв глаза и увидев Эдварда, сияющего улыбкой, с перчатками в одной руке, стоявшего, чуть склонив голову набок, будто он задал вопрос и ждет ответа, Дэвид понял, что не в силах сказать ни слова, и выражение его лица, видимо, отчасти выдавало его смятение, потому что Эдвард шагнул ему навстречу и на лице его проступила озабоченность. – Мистер Бингем, вы хорошо себя чувствуете? – спросил он. – Вы очень побледнели. Присядьте вот здесь, на стул, я принесу вам воды. – Нет-нет, – выдавил он наконец. – Все в порядке. Я просто... Я думал, что оставил здесь вчера альбом... искал его, но не мог найти... но кажется, и здесь его нет... простите, что побеспокоил вас. – Но вы совсем меня не побеспокоили! Потеряли альбом – какой ужас! Не представляю, что бы я делал, если бы потерял свою тетрадь. Давайте поищем хорошенько. – Не нужно, – начал он слабым голосом: это была жалкая ложь, в комнате было так мало мебели, что воображаемому альбому негде было найтись.

Но Эдвард уже начал поиски, он открывал пустые ящики учительского стола, заглядывал в пустой шкаф, стоящий за столом у доски, даже встал на колени, чтобы заглянуть под пианино, несмотря на протесты Дэвида (как будто Дэвид не увидел бы сам этот альбом – спокойно лежащий дома у него в кабинете, – если бы забыл его где-то здесь). Все это время Эдвард издавал восклицания, выражающие тревогу и беспокойство за Дэвида. У него была театральная, подчеркнута старомодная, аффектированная манера речи – все эти охи и ахи, – но раздражала

эта манера меньше, чем можно было предположить: она была одновременно ненатуральной и искренней и казалась не столько притворством, сколько выражением художественной натуры, за ней чувствовались живость и добродушие, как будто Эдвард Бишоп отвергал серьезность, ту серьезность, с которой большинство людей относятся к миру, считая ее притворством, а не добродетелью. – Кажется, мистер Бингем, его здесь нет, – объявил наконец Эдвард, вставая и глядя прямо в глаза Дэвиду с выражением, которое тот затруднялся прочесть, почти с улыбкой: флирт, может быть, даже соблазнение? Понимание, что каждый из них играет свою роль в этой пантомиме? Или же (что более вероятно) поддразнивание, даже издевка? Скольких мужчин с безрассудными намерениями и страстями довелось встретить Эдварду Бишопу в его короткой жизни? Какой длины был список, к которому Дэвиду предстояло добавить собственное имя?

Дэвид хотел бы завершить это театральное представление, но не понимал как: он сам начал его и слишком поздно осознал, что не продумал концовку. – Вы очень добры, благодарю, что помогли мне искать альбом, – сказал он с несчастным видом, глядя в пол. – Наверняка я просто куда-то засунул его дома. Мне не стоило приходить... Не смею больше вас беспокоить.

Никогда, пообещал он себе. Я никогда больше тебя не побеспокою. И все-таки он не двигался, не уходил.

Наступило молчание, и когда Эдвард заговорил, голос его звучал иначе, в нем не было больше прежней театральности. – Никакого беспокойства, что вы, – проговорил он и добавил после паузы: – Ужасно холодно здесь, правда?

(Так оно и было. Начальница держала помещение в холоде во время учебных часов – по ее словам, это повышало сосредоточенность учеников и учило их выдержке. Дети привыкали к холоду, а взрослые нет: каждый учитель и сотрудник приюта вечно кутался в теплые пальто и шали. Дэвид как-то наведлся в приют вечером и поразился, как там было тепло, даже уютно.) – Тут всегда холодно, – сказал он несчастным голосом. – Я собираюсь согреться чашечкой кофе, – объявил Эдвард, и когда Дэвид ничего не ответил, снова не зная, как его понимать, добавил: – Тут за углом кафе, не хотите составить мне компанию?

Он согласился, не успев подумать, все взвесить и отказаться, задаться вопросом, что на самом деле означает это приглашение; и вот уже, к его удивлению, Эдвард застегивает пальто, и они вместе выходят из школы и идут на восток, а потом на юг, на Гудзон-стрит. Они не разговаривали, только Эдвард напевал про себя что-то на ходу, еще какую-то популярную песенку, и на мгновение Дэвид усомнился в себе: может быть, Эдвард весь на поверхности, весь блеск и лакировка? Он все время думал, что за всеми этими улыбками и жестами, за этими белыми ровными зубами скрывается глубокая и серьезная личность, но что, если нет? Что, если перед ним просто пустоцвет, человек, который ищет одних лишь удовольствий?

Но потом Дэвид подумал: а даже если и так? Это просто кофе, а не предложение руки и сердца; и, успокаивая себя так, он вспомнил Чарльза Гриффита, который так и не давал о себе знать с их последней встречи, еще до Рождества, и почувствовал, как шею обдало жаром, а потом сковало холодом.

Когда они подошли к кафе, оказалось, что это и не кафе даже, а скорее чайная комната, тесное помещение с дощатыми полами, шаткими деревянными столиками и неудобными табуретками. При входе был магазинчик, и им пришлось протискиваться через толпу завсегдатаев, изучающих банки с кофейными зернами, сушеные цветки ромашки и листья мяты – два продавца-китайца насыпали все это в бумажные пакетики и взвешивали на медных весах, подсчитывая суммы на деревянных счетах, чье непрерывное ритмичное шелканье обеспечивало своеобразное музыкальное сопровождение чайной. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому атмосфера была оживленной и праздничной, и двое мужчин нашли место у самого камина, из которого с треском разлетались снопы искр, словно фейерверки. – Два кофе, – сказал Эдвард официантке, полненькой восточной девушке, которая кивнула и засеменила прочь.

Мгновение они сидели и смотрели друг на друга через маленький столик, а потом Эдвард улыбнулся, и Дэвид улыбнулся ему в ответ, и они улыбались и улыбались друг другу, после чего оба одновременно расхохотались. А потом Эдвард наклонился к нему совсем близко, как будто хотел поделиться секретом, но прежде чем он успел заговорить, вошла большая группа юношей и девушек – по виду студенты университета, – они стали рассаживаться за столики вокруг, не прекращая спора, того самого, который десятилетиями не выходил из моды у студенческой молодежи и начался даже раньше Повстанческой войны. – Я только говорю, что наша страна едва ли может называть себя свободной, если мы не можем признать негров полноправными гражданами, – говорила хорошенькая девочка с острыми чертами лица. – Но мы принимаем их здесь, – возразил ей мальчик, сидящий напротив. – Да, но только на пути в Канаду или на Запад – мы не хотим, чтобы они оставались, и когда мы говорим, что наши границы открыты для всех жителей Колоний, мы не имеем в виду их, а ведь их угнетают еще больше, чем тех, кому мы предоставляем убежище! Мы считаем себя настолько лучше, чем жители Америки и Колоний, а на самом деле мы такие же! – Но негры не такие же люди, как мы. – Такие же! Я была знакома... ну не я, а мой дядя, когда он путешествовал по Колониям, и негры точно такие же, как мы!

Часть группы издевательски засмеялась, и один мальчик сказал, лениво и насмешливо растягивая слова: – Анна еще скажет нам, что краснокожие точно такие же, как мы, и надо было не искоренять их, а оставить жить их дикарской жизнью. – И среди индейцев были точно такие же люди, как мы, Итан! Это задокументировано!

Тут уже вся группа за столом стала что-то выкрикивать в ответ, и от их гвалта, щелканья счетов, жара камина, идущего со спины, Дэвид почувствовал дурноту. Должно быть, это было заметно, потому что Эдвард наклонился и спросил его, повысив голос почти до крика, не хочет ли он пойти куда-нибудь в другое место. Дэвид сказал, что хочет.

Эдвард пошел сказать официантке, что они не будут кофе, и они протиснулись между студентами и людьми, стоявшими в очереди за пакетиками с чаем, и наконец снова оказались на улице, которая, несмотря на всю деловитость и многолюдность, оказалась просторной и тихой, и это принесло им облегчение. – Тут бывает довольно шумно, – сказал Эдвард, – особенно во второй половине дня, мне следовало бы это помнить. Но здесь все равно очень мило. – Несомненно, – вежливо пробормотал Дэвид. – Здесь есть еще какое-нибудь место, куда мы можем пойти?

Хотя он и преподавал в школе уже полгода, он плохо знал окрестности – его визиты были краткими и целенаправленными, он казался себе слишком старым, чтобы ходить по пабам и дешевым кофейням, которые так привлекали студентов. – Вообще-то, – сказал Эдвард после секундной заминки, – мы можем пойти ко мне, если вы не возражаете, это совсем рядом.

Дэвид был удивлен предложением, но в то же время почувствовал удовлетворение – разве не это привлекло его к Эдварду с самого начала? Обещание вольного духа, блаженное пренебрежение к условностям, избавление от старых чопорных правил и формальностей. Он принадлежал современности, и рядом с ним Дэвид чувствовал, что тоже становится современным, настолько, что сразу же согласился, ободренный дерзостью нового друга, и Эдвард кивнул, словно и не ожидал иного ответа (хотя сам Дэвид на мгновение окаменел от собственной бесшабашности), и повел его сначала на север, а потом на запад, на Бетюн-стрит. На этой улице стояли элегантные дома, недавно построенные особняки из песчаника, в окнах мерцало пламя свечей – было всего пять часов вечера, но вокруг уже сгушались сумерки, – однако Эдвард прошагал мимо них к большому, запущенному, некогда величественному зданию у самой реки, в похожем особняке прошло детство бабушки; теперь все казалось обшарпанным, и деревянная дверь разбухла, так что Эдварду пришлось несколько раз с силой потянуть, прежде чем она открылась. – Осторожно, из второй ступеньки выпал камень, – предупредил он, поворачиваясь к Дэвиду. – Увы, это не Вашингтонская площадь, но я здесь живу.

Он извинялся, но его улыбка – о, это сияние! – придавала словам оттенок не то чтобы хвастовства, но бравады. – Откуда вы знаете, что я живу на Вашингтонской площади? – спросил Дэвид. – Все это знают, – ответил Эдвард, и в его устах это прозвучало так, будто дом на Вашингтонской площади был собственным достижением Дэвида, чем-то достойным похвалы.

Оказавшись внутри (успешно миновав предательскую вторую ступеньку), Дэвид увидел, что особняк превращен в пансион; слева, где должна была быть гостиная, находилось что-то вроде столовой для завтрака, там стояло с полдюжины разномастных столов и десятков стульев, тоже в разном стиле. Он с одного взгляда понял, что это дешевая, плохо сделанная мебель, но потом заметил в углу изящный секретер рубежа веков, похожий на тот, который стоял в гостиной у дедушки, и подошел, чтобы рассмотреть его получше. Было видно, что дерево не натирали месяцами, и его поверхность была испорчена дешевыми маслами – она оказалась липкой на ощупь, и когда он отдернул руку, его пальцы были все в пыли. Но когда-то это была хорошая вещь, и прежде чем он успел спросить, Эдвард сказал за его спиной: – Хозяйка когда-то была весьма состоятельна, во всяком случае, так говорят. Не так богата, как Бингемы, но все же при деньгах.

Вот опять он упомянул их семью и их богатство. – И что случилось? – Муж был игрок и сбежал с ее сестрой. Если верить слухам. Она живет на верхнем этаже, я редко ее вижу – она в преклонных годах, пансионом управляет ее дальняя родственница. – Как ее фамилия? – спросил Дэвид. Если она когда-то была богата, дедушка должен ее знать. – Ларссон. Флоренс Ларссон. Пойдемте, моя комната вон там.

Ковер на лестнице потерялся в одних местах и вовсе стерся в других, и пока они поднимались наверх, Эдвард сообщил, сколько здесь квартирантов (двенадцать, включая его самого) и как долго он тут живет (год). Казалось, он ничуть не смущен ни бедностью и убожеством окружающей обстановки (вода обесцветила обои с цветочным рисунком, оставив случайный узор из больших, бесформенных желтоватых разводов), ни тем, что вообще живет в пансионе. Конечно, многие живут в пансионах, но Дэвид никогда не встречал никого из этих людей и уж тем более не был в таких помещениях, и теперь он оглядывался вокруг с любопытством, но и с некоторым беспокойством. Как живут люди в этом городе! Если верить Элизе, чья благотворительная работа была связана с перемещением и расселением беженцев из Колоний и эмигрантов из Европы, большинство из них жили в ужасающих условиях; она рассказывала о семьях, ютившихся вдесятером в одной комнате, о детях, которые получают ожоги, подобравшись слишком близко к неогороженному очагу в жалкой попытке хоть как-то согреться, о протекающих крышах, из-за которых дождь льет прямо в жилые комнаты. Они слушали все это и качали головами, дедушка цокал языком, а потом они переходили на какую-нибудь другую тему – учебу Иден, например, или выставку картин, которую недавно посетил Питер, и рассказы об ужасных условиях, в которых живут подопечные Элизы, изглаживались из их памяти. И вот он, Дэвид Бингем, находится в таком доме, куда не решились бы войти его брат и сестра. Он осознал, что переживает приключение, а потом устыдился этой глупой гордости, потому что не требовалось никакой храбрости для того, чтобы просто прийти сюда в гости.

На площадке третьего этажа Эдвард свернул направо, и Дэвид прошел за ним в комнату в конце коридора. Вокруг было тихо, хотя, входя внутрь, Эдвард прижал палец к губам и указал на соседнюю дверь: – Он сейчас спит. – Так рано? – прошептал в ответ Дэвид. (Или, наоборот, так поздно?) – Он работает ночами. Портовый грузчик. Уходит из дому где-то в полвосьмого. – А, – сказал Дэвид и снова поразился, как мало он знает жизнь.

Они вошли в комнату, и Эдвард тихо закрыл за собой дверь. Было так темно, что Дэвид не мог ничего разглядеть, только чувствовал запах дыма и – чуть ощутимо – жира. Эдвард заявил, что зажжет свечи, и с шипением каждой новой спички в комнате проступали цвета и контуры. – Я держу шторы закрытыми – так теплее, – сказал Эдвард, но тут же раздвинул их, и очертания комнаты прояснились.

Она была меньше, чем кабинет Дэвида на Вашингтонской площади, в углу стояла узкая кровать, аккуратно заправленная грубым шерстяным одеялом. У изножья кровати находился сундук, с которого лохмотьями свисала кожаная обивка, а справа – деревянный шкаф, встроенный в стену. В другом конце комнаты стоял хлипкий столик, на котором громоздилась старомодная керосиновая лампа, связка бумаг, пресс-папье, стопка книг, все очень потрепанные. Еще там была табуретка, такая же дешевая, как и вся остальная мебель. У противоположной от кровати стены Дэвид увидел основательный кирпичный камин, в нем на железном штыве висел тяжелый черный старомодный котелок, такие были в его детстве, он вспомнил, как стоял на заднем дворе городского дома и смотрел на горничных, перемешивающих белье в больших котлах с кипящей водой. Камин располагался между двух больших окон, за которыми голые ветви ольхи прочерчивали контуры, похожие на паутину.

Дэвиду это место показалось диковинным, о таком он читал в газетах, и он снова подивился своему присутствию здесь – место было еще более странным, чем компания, в которой он здесь очутился.

Потом он вспомнил о приличиях и перевел взгляд на Эдварда, который стоял посередине, держа перед собой руки со сплетенными пальцами, – Дэвид уже знал это его нехарактерное выражение уязвимости. И впервые за их короткое знакомство Дэвид увидел на лице этого человека выражение неуверенности, которого не замечал раньше, и ощутил прилив одновременно теплоты и храбрости, так что когда Эдвард наконец произнес “Я заварю чаю?”, Дэвид смог сделать шаг вперед – всего один шаг, но в комнате было так тесно, что он оказался в нескольких дюймах от Эдварда Бишопы, так близко, что смог разглядеть его ресницы, каждую в отдельности, черные и влажные, словно прорисованные тушью. – Да, пожалуйста, – сказал он, специально понижая голос, словно более громкий звук мог привести Эдварда в чувство и спугнуть его. – Мне очень хочется чаю.

Эдвард отправился за водой, и когда он вышел, Дэвид смог исследовать комнату более тщательно и подробно и осознал, что хладнокровие, с которым он воспринял состояние этого дома, было вовсе не хладнокровием, а потрясением. Дэвид вдруг понял, что Эдвард беден.

Но чего он ожидал? Что Эдвард окажется таким же, как он, конечно: воспитанным, образованным молодым человеком, который преподает в школе из благотворительных побуждений, а не – теперь это была уже не вероятность, а почти уверенность – за деньги. Он отметил красоту его лица, покрой одежды и вообразил сродство, сходство там, где его не было. Но теперь он сидел на сундуке в изножье кровати и смотрел на пальто Эдварда, которое тот снял, прежде чем выйти из комнаты: да, хорошая шерсть, хороший фасон, но лацканы (когда он осмотрел их как следует) оказались чуть шире, чем положено по сегодняшней моде, часть планки была заштопана рядами крошечных стежков, а рукава явно удлиняли – на них отчетливо виднелся след от сгиба. Он поежился – и от своей ошибки, и оттого, что виной всему был его собственный изъян: Эдвард не пытался его обмануть, он сам пришел к неверным заключениям, игнорируя все, что не вписывалось в его теорию. Он искал признаки сходства с собой, с другими из привычного мира, и когда нашел их – или что-то похожее, – просто перестал присматриваться, перестал видеть. “Человек, повидавший мир”, – сказал дедушка, встречая его после годового путешествия по Европе, и Дэвид поверил ему, согласился с ним. Но в самом ли деле он повидал мир? Или же весь его опыт был ограничен миром, созданным Бингемами, пусть богатым и разнообразным, но далеко не полным? Вот он стоит в комнате, в доме, который находится меньше чем в пятнадцати минутах езды в экипаже от Вашингтонской площади, и эта комната более чужеродна ему, чем Лондон, Париж и Рим; он мог бы с тем же успехом находиться в Пекине или на Луне. И было еще кое-что похуже: чувство нереальности, которое он испытывал, свидетельствовало о наивности не только предосудительной, но и опасной. Даже войдя уже в этот дом, он считал, что Эдвард живет здесь смеха ради, играя в бедность.

Это осознание, вместе с пронизывающим холодом комнаты, от которого все казалось как будто влажным, так глубоко и неотвязно он проникал везде, заставило его увидеть нелепость собственного пребывания здесь, и он встал, вновь застегнул пальто, которое даже не снял, и приготовился уйти, репетируя разговор с Эдвардом на лестнице – извинения, оправдания, – когда хозяин внезапно вернулся, неся в руках медную кастрюлю, из которой выплескивалась вода. “Дорогу, пожалуйста, мистер Бингем!” – сказал он с насмешливой официальнойностью, уже вернув себе былое самообладание, и налил воду в чайник, прежде чем разжечь огонь – пламя вспыхнуло немедленно, как по волшебству. Все это время Дэвид беспомощно наблюдал за ним, и когда Эдвард повернулся к нему, сдался и сел на кровать. – О, я не должен был садиться на вашу постель! – воскликнул он, вскакивая на ноги.

Эдвард улыбнулся. – Но здесь больше некуда сесть, – сказал он просто. – Прошу вас.

И Дэвид сел обратно.

От огня комната стала уютнее, не такой мрачной, окна запотели от пара, и когда Эдвард налил им чаю – “Боюсь, это не совсем чай, а отвар из ромашки”, – Дэвид почувствовал себя лучше, и на мгновение между ними установилось непринужденное молчание, пока оба подносили чашки к губам. – У меня есть печенье, хотите? – Нет, благодарю вас.

Оба сделали глоток. – Надо будет как-нибудь снова пойти в то кафе, может быть, пораньше. – Да, с удовольствием.

Мгновение они оба, казалось, подбирали слова. – А вы-то что думаете: надо нам пускать негров? – спросил Эдвард, явно поддразнивая Дэвида, и тот, улыбнувшись, покачал головой. – Я, конечно, очень сочувствую неграм, – сказал он веско, эхом повторяя дедушку, – но лучше будет, если они найдут свое место для жизни – на Западе, например.

Не то чтобы негры были необучаемы, говорил дедушка, даже напротив, в том-то и проблема – ведь когда негр станет ученым, разве не захочет он сам воспользоваться всеми возможностями, которые дают Свободные Штаты? Дэвид подумал, что дедушка всегда говорит “негритянский вопрос”, а не “дилемма” и не “проблема”, потому что “если называть это проблемой, то нам придется ее решать”. “Негритянский вопрос – это грех в самом сердце Америки, – часто говорил он, – но мы не Америка, и это не наш грех”. В этом отношении, как и во многих других, дедушка был мудр, и Дэвиду никогда не приходило в голову оспаривать его мнение.

Еще одна пауза, слышно было только, как их зубы постукивают о фарфор, а потом Эдвард сказал с улыбкой: – Вы в ужасе от того, как я живу. – Нет, – сказал Дэвид, – не в ужасе.

Однако он был так потрясен, что вовсе утратил все свои манеры и умение вести беседу. Когда он был застенчивым школьником, не умел заводить друзей и одноклассники не обращали на него внимания, дедушка однажды объяснил ему, что казаться интересным человеком очень просто: надо спрашивать людей о них самих. “Люди обожают говорить о себе, – сказал дедушка. – Если какие-то обстоятельства заставляют тебя сомневаться в себе, в своем положении – хотя ты не должен, ты ведь Бингем и лучший ребенок на свете, – надо спросить своего собеседника что-то о нем самом, и он навеки уверится, что ты самый необыкновенный человек, какой только встречался на его пути”. Конечно, это было преувеличение, но дедушка был близок к истине, и, последовав его совету, Дэвид если и не завоевал заметного места среди сверстников, то, безусловно, избежал многих лет унижений и с тех пор бесчисленное количество раз полагался на эту мудрость.

Даже сейчас он понимал, что из них двоих Эдвард несравненно более загадочная и притягательная личность. Он был Дэвид Бингем, о нем все было всем известно. Но каково быть анонимной фигурой, когда твое имя ничего не значит и можно двигаться по жизни словно тень, можно спеть в классе песенку из мюзик-холла, и никто не будет рассказывать об этом всем знакомым, жить в стильной комнатенке в пансионе, где сосед за стенкой просыпается, когда остальные сидят в гостиной за выпивкой и разговорами, никому не давать отчета в своих дей-

ствиях? Он был не настолько романтичен, чтобы желать такой жизни; ему бы не понравилось ютиться в холодной крошечной келье так близко к реке, ходить за водой всякий раз, как захочется чаю, вместо того чтобы просто дернуть шнур звонка, – он не уверен был, что смог бы так жить. Однако его известность означала, что он раз и навсегда променял приключения на уверенность в завтрашнем дне и оттого ему предстоит влачить предсказуемую жизнь. Даже в Европе его передавали от одних знакомых дедушки другим: он никогда не выбирал свой путь, это делали за него, заодно очищая этот путь от препятствий, о которых он даже не успевал узнать. Он был свободен – и в то же время не свободен.

Так что задавать вопросы Эдварду он стал с совершенно искренним желанием понять, кто он и как стал жить той жизнью, которой живет, и когда Эдвард заговорил, так естественно и непринужденно, будто годами ждал, когда же Дэвид придет и станет его расспрашивать, Дэвид обнаружил в себе, несмотря на интерес к истории Эдварда, новую и неприятную гордость – что вот сидит он здесь как ни в чем не бывало, в этом невообразимом месте, и разговаривает со странным, красивым, невообразимым человеком, и хотя небо за запотевшим окном темнеет и скоро дедушка сядет ужинать один и будет беспокоиться, куда он делся, Дэвид не двигается, не пытается извиниться и уйти. Он был словно околдован и, понимая это, сложил оружие и сдался, оставляя позади тот мир, который он, как ему казалось, знал, и вступая в другой, незнакомый, и все потому, что ему хотелось перестать быть собой и стать тем, кем он мечтал быть.

Глава 6

В течение следующих недель он видел Эдварда сначала еще раз, потом дважды, трижды, еще четыре раза. Они встречались после урока Эдварда или его собственного урока. Во вторую встречу они для приличия сначала пошли в кафе, но потом уже сразу отправлялись в комнату Эдварда, где оставались допоздна – настолько, насколько Дэвид решался остаться, прежде чем вернуться в свой экипаж, который ждал его у школы, и помчаться домой, чтоб успеть к моменту, когда дедушка явится к ужину, – после первого визита к Эдварду Дэвид опоздал, и дедушка не рассердился, но проявил любопытство, и хотя Дэвид пока уходил от расспросов, он знал, что при дальнейших опозданиях они станут более настойчивыми, а он был не готов отвечать.

Даже если бы ему пришлось объясниться, он не знал, как описать ту дружбу, которая возникла у него с Эдвардом. По вечерам, после того как они с дедушкой заканчивали беседу в гостиной за стаканчиком (“У тебя все хорошо? – спросил дедушка после третьей тайной встречи. – Ты какой-то необычно... рассеянный”), он забирался в свой кабинет и записывал в дневник все, что узнал об Эдварде в этот день, а потом сидел и перечитывал написанное, как будто это был один из любимых Питером детективов, а не рассказ, который он слышал своими ушами.

Эдварду было двадцать три года, на пять лет меньше, чем Дэвиду, он два года проучился в консерватории в Вустере, штат Массачусетс. Но хотя он учился по стипендии, ему не хватило денег, чтобы получить степень, и четыре года назад он вынужден был переехать в Нью-Йорк и искать работу. – И что ты делал? – спросил Дэвид. – Да так, всего понемногу, – был ответ.

И это не то чтобы было неправдой, во всяком случае, не вполне: Эдвард, очень недолго, поработал помощником повара (“Кошмар! Я воду-то с трудом могу вскипятить, как видишь”), няней (“Жуть. Я совершенно не занимался со своими подопечными, только кормил их сладостями”), учеником угольщика (“Не могу представить, почему я решил, что мне подойдет это занятие”), натурщиком (“Гораздо скучнее, чем кажется. Стоишь в неестественной позе, пока не окоченеешь и все тело не начнет болеть, а целый класс глупых старух и похотливых старикашек пытается тебя нарисовать”). Наконец он нашел работу пианиста в маленьком ночном клубе (осталось неясным, как именно он туда попал).

(“В ночном клубе!” – воскликнул Дэвид, не удержавшись. “Да-да, в ночном клубе! Где бы еще я выучил все эти непристойные песенки, оскорбляющие слух Бингемов?” Но Эдвард просто его поддразнивал, и они улыбнулись друг другу.)

В ночном клубе он получил предложение преподавать в приюте (это тоже осталось без объяснения, и у Дэвида промелькнула краткая и чрезвычайно яркая фантазия: начальница приюта заходит в темную комнату, хватает Эдварда за шкирку, выволакивает его по лестнице на улицу и тащит в школу); в последнее время он пытался подрабатывать частными уроками, хотя знал, что найти такую работу трудно, почти невозможно.

(“Но у тебя есть нужное образование”, – возразил Дэвид. “Но у многих образование гораздо лучше и вдобавок рекомендации. Сам подумай: вот у тебя же есть племянники и племянницы? Разве твой брат или сестра наняли бы такого, как я? Или – скажи по правде – они доверили бы своих крошек только учителям, окончившим Национальную консерваторию, профессиональным музыкантам? Нет-нет, ничего страшного, не надо извиняться, это в порядке вещей. Бедный и безвестный молодой человек, не получивший степени даже в третьесортном заведении, не пользуется и никогда не будет пользоваться особым спросом”).

Ему нравилось учить. Друзья Эдварда (он ничего о них не рассказывал) дразнили его из-за этой работы, скромной по любым меркам, но она ему нравилась, и ему нравились дети. “Они напоминают мне меня самого”, – сказал он, но не объяснил почему. Он, как и Дэвид, понимал,

что их питомцы никогда не смогут стать музыкантами, возможно, им будет даже недоступна роскошь посетить хоть один концерт, но он думал, что по крайней мере они получают удовольствие, проблеск радости в своей жизни, что-то, что они смогут унести с собой, источник наслаждения, который у них не отнять. – Да, я думаю так же! – воскликнул Дэвид, взволнованный тем, что кто-то смотрит на образование этих детей так же, как он. – Они не будут сами музицировать – скорее всего, ни один из них, – но это даст им некоторую внутреннюю утонченность, правда? Разве это не ценно само по себе?

При этих словах что-то, какое-то облако, быстро прошло по лицу Эдварда, и на мгновение Дэвид решил, что чем-то его обидел. Но... – Ты совершенно прав, – только и сказал его новый друг, и беседа повернула в другое русло.

Все это он записал, и еще все, что Эдвард рассказал ему о своих соседях; эти рассказы смешили и поражали его: пожилый холостяк, который никогда не выходил из своей комнаты и тем не менее клал свои ботинки в корзину, которую относили чистильщику, ждущему у дома; портовый грузчик, чей храп они слышали порой через тонкую стену; юноша в комнате над ними, который, как уверял Эдвард, давал уроки танцев пожилым дамам, приводя в доказательство стук каблуков по дереву, который они слышали над головой. Он понимал, что Эдвард считает его наивным, что ему нравится его изумлять, а иногда и шокировать. И он рад был идти у него на поводу: ведь Дэвид и впрямь был наивным. Ему нравилось изумляться. В присутствии Эдварда он чувствовал себя одновременно старше и младше и при этом ощущал странную легкость – как будто ему дали возможность заново пережить юность, узнать наконец ту беззаботность, которая свойственна молодости, но только теперь он был достаточно взрослым, чтобы по-настоящему это оценить. Эдвард стал называть его “мой невинный младенец”, и хотя это дружеское прозвище могло показаться слишком снисходительным – ведь оно было снисходительным, правда? – Дэвида оно не обижало. Эдвард ведь говорил не о невежестве, а о невинности, о чем-то маленьком, драгоценном, что нужно лелеять и защищать от мира за стенами пансиона.

Но то, что сказал ему Эдвард в их третью встречу, занимало теперь большую часть его времени и его мысли. В тот раз у них впервые была близость, Эдвард стоял и говорил (о своем друге, который учил математике детей из предположительно богатой семьи, о которой Дэвид ничего не слышал) и задегивал шторы, а потом как ни в чем не бывало подсел к Дэvidу на кровать, и – хотя, конечно, это не был его первый раз, как и каждый житель этого города, бедный или богатый, он иногда ехал в экипаже к восточной части Гансевоорт-стрит, в нескольких кварталах к северу от пансиона, где такие мужчины, как он, направлялись к южному ряду домов, а мужчины, которые хотели женщин, к северному, а хотевшие чего-то совсем другого шли к восточному концу улицы, где находились заведения, исполнявшие более прихотливые желания, включая единственный аккуратный домик, предназначавшийся только для клиентов женского пола, – это было невероятно, как будто он заново учился ходить, или есть, или дышать: физическое ощущение, которое до сих пор было для него чем-то одним, оказалось чем-то совсем другим.

После они лежали на кровати, такой узкой, что им пришлось обоим повернуться набок, иначе Дэвид бы свалился. И они смеялись над этим тоже. – Знаешь, – начал Дэвид, вытаскивая руку из-под шерстяного одеяла, которое просто непереносимо кололось, словно было соткано из рыболовных сетей – надо подарить ему одеяло, подумал он, – и кладя ладонь на теплую кожу Эдварда, под которой чувствовались ребра, – ты столько всего мне рассказывал, но я не знаю, откуда ты родом, кто твои родители.

Это умолчание вначале интриговало Дэвида, но теперь казалось ему немного тревожным – он боялся, что Эдвард стесняется своих корней, что он страшится неодобрения. Но Дэвид ведь был не такой человек: Эдварду нечего было бояться.

– Откуда ты? – спросил он, когда Эдвард промолчал. – Не из Нью-Йорка. Коннектикут? Массачусетс?

Эдвард наконец заговорил. – Из Колоний, – сказал он тихо, и Дэвид потерял дар речи.

Он никогда не знал никого из Колоний. Конечно, он видел их: каждый год Элиза и Иден устраивали у себя салон, чтобы собрать деньги на беженцев, и там всегда был какой-нибудь беглец, обычно недавний, который рассказывал, дрожа, о своем опыте – прекрасным, медовым голосом, какой обычно был у колонистов. Часто они убегали по религиозным соображениям, или чтобы избежать казни, или потому, что за десятилетия, прошедшие после поражения в Повстанческой войне (хотя граждане Колоний никогда бы не признали, что это поражение), Колонии все больше и больше беднели – не окончательно, конечно, не до разорения, но никогда больше там не было того благосостояния, которое царило когда-то, и уж конечно, ничего близко похожего на те богатства, которые накопили Свободные Штаты за сто с лишним лет со дня своего основания. Но его сестра с женой принимали не таких беженцев, а других – бунтарей, тех, кто подавался на Север потому, что им было опасно находиться там, где они родились и выросли, тех, кто хотел свободы. Война закончилась, но борьба продолжалась, для многих Колонии оставались полем боя, где постоянно происходили столкновения и ночные рейды.

Так что да, он был знаком с хаосом Колоний. Но здесь было совсем другое дело. Здесь был человек, которого он узнавал все ближе, с которым разговаривал и смеялся, в чьих объятиях лежал сейчас, и оба они были раздеты. – Но ты говоришь не так, как говорят в Колониях, – сказал он наконец, и, к его облегчению, Эдвард рассмеялся. – Это правда, но я прожил здесь много лет, – ответил он.

История Эдварда проступала сначала медленно, потом полилась сплошным потоком. Он прибыл в Свободные Штаты, в Филадельфию, еще ребенком. Четыре поколения его семьи жили в Джорджии, возле Саванны, и отец его работал учителем в школе для мальчиков. Когда Эдварду было почти семь, ему объявили, что семья отправляется в путешествие. Их было шестеро: он, мать, отец и три сестры – одна старше и две младше.

Дэвид произвел подсчеты: – То есть все это происходило в семьдесят седьмом году? – Да. Осенью.

Дальше следовал обычный рассказ беглеца: перед войной Южные Штаты не одобряли Свободные Штаты, но не препятствовали свободному перемещению граждан. Однако после войны и последующего отделения Юга от Союза жители Свободных Штатов больше не могли законно ездить на Юг, который теперь назывался Соединенные Колонии, а колонистам нельзя было ездить на Север. Однако многие колонисты все равно это делали. Путь на Север был трудным, долгим, преодолевать его приходилось по преимуществу пешком. Считалось, что безопаснее передвигаться группами, но группа не должна превышать десять человек и в ней не должно находиться более пяти детей, поскольку они быстро устают и с меньшей вероятностью смогут соблюдать тишину в случае появления патруля. Ходили страшные истории о неудавшихся попытках: как рыдающих детей отрывали от родителей и, по слухам, продавали в местные семьи, чтобы они работали на фермах; как жен разделяли с мужьями и силой отдавали замуж за других; как людей бросали в тюрьму, убивали. Худшие истории рассказывали про таких, как они, про тех, кто приехал в Свободные Штаты, надеясь легализоваться. Недавно в гостях у Элизы были двое недавно прибывших мужчин, которые ехали с друзьями, еще одной парой, из Виргинии. Они были менее чем в полумиле от Мэриленда, откуда должны были добраться в Пенсильванию, и остановились отдохнуть под дубом. Они лежали на траве, каждый в объятиях партнера, и когда они задремали, послышался звук копыт, и они тут же вскочили на ноги и побежали. Но вторая пара оказалась не такой быстрой, и первая пара услышала их крики и как они упали, но не повернула назад – вместо этого они побежали еще быстрее, они и не знали, что способны так быстро бежать. За ними, ближе и ближе, раздавался стук копыт другой лошади, и они опередили всадника буквально на несколько метров, и успели перейти

границу, и тогда, повернувшись, увидели патрульного – лицо его было скрыто капюшоном, он туго натянул поводья, остановил лошадь и целился в них из винтовки. Патруль не имел права переходить границу, чтобы поймать беглеца, и уж конечно, не должен был убивать его, но все знали, что пуля легко перечеркивает этот закон. Пара снова повернулась и побежала, казалось, еще несколько миль ржание лошади эхом раздавалось за их спинами, и только на следующий день, уже находясь далеко от границы, они разрешили себе оплакать своих друзей: не только потому, что те мечтали начать новую жизнь вместе в Свободных Штатах, но и потому, что знали, что ждет таких людей, как они, если их поймают, – избиения, пытки, огонь, смерть. Рассказывая об этом в гостиниой Элизы и Иден, мужчины снова рыдали, и Дэвид, как и все остальные присутствующие, слушал их, застыв от ужаса. В тот вечер, вернувшись на Вашингтонскую площадь, он думал, какое благословение родиться в Свободных Штатах; он, Дэвид, никогда не знал и не узнает такого варварства, какое пришлось пережить этим джентльменам.

Семья Эдварда предприняла свою поездку самостоятельно. Его отец не стал нанимать контрабандиста, хотя такие люди, если они были надежны (а некоторые были), существенно увеличивали шансы на удачный побег; они не поехали с другой семьей, что давало некоторые преимущества: пока одна пара спала, другая присматривала за детьми. Путь из Джорджии занимал около двух недель, но к концу первой недели похолодало, потом ударил мороз, а запасы провизии почти подошли к концу.

– Родители будили нас очень рано, на рассвете, и мы с сестрами шли искать желуди, – сказал Эдвард. – Мы не рисковали разводить костер, но мама растирала их в пасту, и мы намазывали пасту на галеты. – Какой ужас, – пробормотал Дэвид. Он чувствовал себя глупо – но что еще мог он сказать? – Да. Особенно это было ужасно для моей младшей сестры, Бэлль. Ей было всего четыре года, и она не понимала, что надо вести себя тихо; она только знала, что голодна, но не знала почему. Она все плакала и плакала, и маме приходилось зажимать ей рот рукой, чтобы нас не услышали.

Его родители ничего не ели ни на завтрак, ни на обед. Они берегли еду на ужин, и ночью вся семья жалась друг к другу в поисках тепла. Эдвард с отцом искали какую-нибудь рощицу или хотя бы канаву, в которой можно было спрятаться, укрывшись ветками и листьями – от ветра и чтобы хоть немного сбить с толку патрульных собак. Что хуже, думал тогда Эдвард, страх или голод? И то и другое преследовало их целый день.

Добравшись наконец до Мэриленда, они напрямик направились в один центр, о котором друг рассказал отцу Эдварда, и оставались там несколько месяцев. Отец Эдварда учил чтению и математике детей других беженцев; мать Эдварда, искусная швея, чинила рваную одежду, которую центр принимал в ремонт, чтобы заработать хоть какие-то деньги. К весне они уехали оттуда и снова пустились в путешествие: этот путь тоже был трудным, хотя и не таким опасным, поскольку сейчас они уже находились в Союзе – теперь они пробирались в Свободные Штаты и оттуда на Север, в Нью-Йорк. Здесь, в городе, мистер Бишоп нашел в конце концов работу в типографии (в Свободных Штатах и Союзе существовали некоторые предрассудки относительно образовательного уровня жителей Колоний, и потому многие ученые беженцы оказывались на более низкой ступени общественной лестницы), и все шестеро поселились в маленькой квартирке на Орчард-стрит.

И все же, сказал Эдвард (и Дэвид уловил в его голосе нотку искренности, даже гордости), большинство из нас неплохо устроились. Родители умерли, их унесла инфлюэнца девяностых, но две старших сестры работают учительницами в Вермонте, а Бэлль стала медсестрой и живет со своим мужем-врачом в Нью-Гемпшире, в Манчестере. – Я – единственный неудачник, – сказал он с драматическим вздохом, хотя Дэвид чувствовал, что в какой-то мере он и в самом деле так считает и его это беспокоит. – Ты не неудачник, – сказал Дэвид и притянул его к себе поближе.

Они некоторое время молчали, подбородок Дэвида покоился на темной макушке Эдварда, а рука выводила узоры на его спине. – А твой отец, он был как мы? – спросил Дэвид. – Нет, не как мы, не знаю, был ли он против этого, он не говорил. Думаю, что нет.

– Он верил в доктрину преподобного Фоксли?

Многие беглецы были тайными адептами учения знаменитого утопианца, защитника открытой любви и одного из основателей Свободных Штатов. В Колониях он считался еретиком, и держать дома его тексты было противозаконно. – Нет, нет. Он не был особенно религиозен. – Но почему – прости, что я спрашиваю, – почему он захотел податься на Север?

Тут Дэвид почувствовал вздох – теплое дыхание Эдварда на своей груди. – Знаешь, честно говоря, даже через столько лет я этого не знаю. Мы ведь хорошо жили в Джорджии. Нас все знали, у нас были друзья. Когда я подрос и набрался дерзости, я спросил его, почему мы уехали. И он сказал только, что хотел для нас лучшей жизни. Лучшей жизни! Из всеми уважаемого учителя он превратился в типографского рабочего – конечно, это вполне достойное занятие, но человек, привыкший работать головой, обычно не называет лучшей жизнью необходимость работать руками. Я так и не понял, почему мы уехали, во всяком случае, не совсем – и никогда уже, видимо, не пойму. – Но может быть, – сказал Дэвид тихо, – он сделал это для тебя.

Эдвард тоже притих. Потом ответил: – Не думаю, что он знал это обо мне, когда мне было всего шесть лет. – Может быть, знал. Мой отец знал; мне кажется, он знал это о нас всех. Ну, кроме Иден, наверное, – она была младенцем, когда они с мамой умерли. Но обо мне и Джоне, хотя мы были совсем маленькие... Да, мне кажется, знал. – И его это не беспокоило? – Нет, с какой стати? Его собственный отец был как мы. Мы не были ему чужды или неприятны.

На это Эдвард рассмеялся, словно резко выдохнул, и, откатившись от него, лег на спину. Уже настал вечер, и комната погрузилась в полумрак – Дэвиду скоро придется уйти, чтобы не пропустить еще один ужин. Но ему хотелось только лежать на жесткой, узкой кровати Эдварда Бишопы, чувствуя, как нестерпимо колется накинутое на него грубое шерстяное одеяло, ощущая тепло огня, тлеющего в камине, и тепло кожи Эдварда. – Ты знаешь, как в Колониях называют Свободные Штаты? – Дэвид, хотя и не придавал значения тому, что о них думают в Колониях, конечно же, знал жестокие и вульгарные клички, которыми там называли жителей его страны, но, вместо того чтобы ответить на вопрос, он закрыл рот Эдварда ладонью: – Да, поцелуй меня.

И Эдвард поцеловал.

После этого он неохотно оделся, вышел на холод и вернулся на Вашингтонскую площадь, но позже, уже в своем кабинете, осознал, что этот разговор, то, что он узнал, изменило его. У него теперь был секрет – не просто гладкая белая кожа Эдварда, его мягкие темные волосы, но и его опыт, то, что он видел и пережил. Эдвард был из других мест, из другого мира, и, разделяя свою жизнь с Дэвидом, он внезапно сделал жизнь Дэвида богаче, глубже – восхитительной, таинственной.

Теперь, в кабинете, он снова перечитывал свой дневник, впитывая знакомые подробности, словно знакомился с ними впервые. Среднее имя Эдварда (Мартинс – девичья фамилия его матери); его любимое музыкальное произведение (Бах, сюита для виолончели № 1 в соль мажор), его любимое блюдо (не смейся – мамалыга с беконом. Нет, не смей смеяться! Я ведь из Джорджии как-никак!). Он читал исписанные страницы с жадностью, какой не испытывал много лет, и когда в конце концов лег, не в силах бороться с зевотой, то с удовольствием думал, что завтра будет новый день, а значит, он опять увидит Эдварда. Влечение, которое он чувствовал к Эдварду, было волнующим, волнующей была сама интенсивность этого влечения, скорость, с которой развивались отношения. Может быть, впервые за всю свою жизнь он ощущал в себе безрассудство, лихость, словно сидел верхом на понесшей лошади, едва удерживаясь на ней в бешеной скачке по равнине, задыхаясь от смеха и страха.

Много лет – так много лет – он задавался вопросом: может быть, в нем чего-то не хватает, может, у него какой-то дефект? Дело было не в том, что его не приглашали куда-то, куда звали Иден и Джона, дело было в том, что происходило там. Когда они были моложе, их все называли просто “молодые Бингемы”, и он был известен как старший, “холостяк”, “неженатый”, тот, кто “все еще живет на Вашингтонской площади”. Они приходили на праздник, поднимались по низким широким ступеням недавно выстроенного особняка на Парк-авеню, Иден и Джон впереди, под руку, он в хвосте, и, войдя в сверкающий праздничный зал, он слышал приветствия, и лица Иден и Джона целовали какие-то приятели, радующиеся их приходу.

А он? Его, конечно, тоже приветствовали; все они были прекрасно воспитаны, их ровесники и знакомые, а он все-таки был Бингем, так что никто не осмелился бы вести себя с ним недостаточно сердечно, во всяком случае в открытую. Но казалось, для всех собравшихся он будто находился немного не здесь, будто плыл над залом, и за обедом его сажали не с золотой молодежью, а среди друзей и родственников их родителей – с сестрой его отца, например, или престарелым дядюшкой матери, – и он в полной мере ощущал и свою чуждость, и как то, что он старался скрыть, очевидно и ясно всем в его кругу. С другой стороны стола то и дело доносились взрывы смеха, и его сосед или соседка снисходительно качали головами, прежде чем повернуться к нему и сказать, что молодежь, конечно, легкомысленна, но что поделать, приходится все им прощать. Иногда они тотчас же понимали свою ошибку и торопливо добавляли, что он, должно быть, тоже любит повеселиться, но иногда этого не происходило; он как будто преждевременно постарел, изгнанный с острова юности не годами своими, а темпераментом.

А может, дело было не в темпераменте, а в чем-то еще. Он никогда не был человеком общительным и непринужденным, даже в детстве. Однажды он слышал, как дедушка говорит с Фрэнсис о его характере, объясняя, что, поскольку Дэвид старший, его скорбь была самой сильной, когда они потеряли родителей. Но качества, которые часто сопровождают такого рода замкнутость – прилежание, целеустремленность, склонность к наукам, – в нем отсутствовали. Он был чувствителен к опасностям жизни, но не к ее радостям и удовольствиям; даже любовь была для него не состоянием блаженства, а источником тревоги и страха: любит ли его возлюбленный? Могут ли его бросить? Он наблюдал, как сначала Иден, а потом Джон встречались со своими нареченными, как они возвращались домой поздним вечером, щеки их горели от вина и танцев, он видел, как они быстро выхватывают свои письма с подноса, протянутого Адамсом, разрывают конверты, выбегая из комнаты, и губы их уже складываются в улыбку. То, что ему недоступен был этот вид счастья, вызывало печаль и беспокойство; в последнее время он стал страшиться, что не только никто не сможет полюбить его, но он и сам не способен принять такую любовь, а это намного хуже. Его влюбленность в Эдварда, то пробуждение, которое он с ним испытал, не только давало ему в полной мере ощутить само чувство, но и усиливалось чувством облегчения: оказывается, с ним все в порядке. У него нет никакого дефекта, он просто не находил человека, который мог бы дать ему полную силу наслаждения. Но теперь, когда он нашел такого человека, он переживал перерождение, которое не раз наблюдал у других влюбленных, но которое так долго было недоступно ему самому.

В ту ночь ему приснился сон: дело происходило в далеком будущем. Они с Эдвардом жили вместе на Вашингтонской площади. Они сидели в креслах, бок о бок, в гостиной, под окном, выходящим на северную границу парка, там, где сейчас стояло пианино. У их ног расположились темноволосые дети, девочка и два мальчика, они листали книжки с картинками; блестящие волосы девочки украшал бархатный алый бант. В камине горел огонь, на каминной полке стоял букет сосновых веток. Он знал, что на улице идет снег, из столовой доносился аромат жареных куропаток, бульканье вина, наливаемого в декантер, звон фарфора – там накрывали на стол.

В этом видении он не страшился Вашингтонской площади, это была не тюрьма – это был дом, их дом, их семья. Дом все-таки стал принадлежать ему – он стал принадлежать ему, потому что принадлежал и Эдварду.

Глава 7

В следующую среду он уходил на свой урок, когда Адамс поймал его у самой двери: – Мистер Дэвид, мистер Бингем утром прислал записку из банка – он просит, чтобы вы вернулись сегодня ровно в пять. – Спасибо, Мэтью, я сам, – сказал он камердинеру, забирая у него коробку с фруктами, которые должны были сегодня рисовать его ученики, и повернулся к двоюродному: – Он объяснил зачем, Адамс? – Нет, сэр. Только распорядился о времени. – Хорошо, передай ему, что я буду. – Превосходно, сэр.

Распоряжение было сформулировано вежливо, но Дэвид знал, что это не просьба, а приказ. Всего несколько недель назад – несколько недель! Неужели прошел какой-то несчастный месяц с того дня, как он встретил Эдварда, с тех пор как преобразился весь его мир? – он бы испугался, стал бы в тревоге спрашивать себя, что хочет сказать ему дедушка (совершенно необоснованно, поскольку дедушка всегда был к нему добр, редко его упрекал, даже в детстве), но теперь он ощутил одно лишь раздражение, ведь это означало, что у него будет меньше времени с Эдвардом. После урока он отправился напрямик к Эдварду, и казалось, что ему прямо сразу же пришлось одеваться и уходить, с обещанием вскоре прийти снова.

У двери комнаты оба помедлили, Дэвид стоял уже в пальто и шляпе, Эдвард завернулся в ужасное колючее одеяло. – Тогда завтра? – спросил Эдвард с такой откровенной страстью, что Дэвид – не привыкший к тому, что счастье другого человека зависит от его утвердительного ответа, – улыбнулся и кивнул. – Завтра! – сказал он, Эдвард наконец отпустил его, и Дэвид спустился по лестнице.

Взбираясь по ступенькам собственного дома, он обнаружил, что нервничает перед встречей с дедушкой, как никогда раньше, ведь это будет их первая беседа после нескольких месяцев отдаления, а не просто после однодневной разлуки. Но дедушка, уже сидевший в гостиной, принял его поцелуй благосклонно, как всегда, и они вдвоем сидели за хересом и обсуждали отвлеченные темы, пока Адамс не пришел, чтобы объявить, что готов ужин. Только по пути в столовую он зашептал что-то дедушке, но дедушка ответил: “После ужина”.

Ужин прошел обыкновенно, и ближе к его завершению Дэвид испытал редкое для него чувство раздражения по отношению к дедушке. Значит, нет никаких новостей, которые надо было поскорее ему сообщить? Это был просто способ напомнить ему о его зависимости, о том – и он сам это прекрасно знал, – что он не хозяин в доме, что он даже не считается взрослым и на самом деле не может даже уходить и приходить когда ему вздумается? Он слышал, что его ответы на вопросы дедушки становятся все суше, и ему пришлось приложить усилие, чтобы немногословие не перешло в грубость. Ведь что мог он сделать, что возразить? Это не его дом. Он сам себе не хозяин. Он мало чем отличается от слуг, от служащих банка, от воспитанников приюта – он зависит от Натаниэля Бингема и всегда будет зависеть.

К тому времени, как он уселся в свое обычное кресло наверху, в дедушкиной гостиной, в нем кипели чувства – раздражение, жалость к себе, гнев, – и тут дедушка подал ему толстый конверт, порядком потрепанный, с краями, покореженными высохшей водой. – Это пришло сегодня в контору, – сказал он без всякого выражения, и Дэвид с удивлением повертел письмо в руках и увидел свое имя, адрес фирмы “Братья Бингемы” и массачусетскую марку. – Срочная доставка, – сказал дедушка. – Возьми, прочитай и верни.

Дэвид молча встал, пошел в свой кабинет и на минуту застыл с конвертом в руках, прежде чем разрезать его.

20 января 1894 г.

Мой дорогой Дэвид,

Мне ничего не остается, как начать это письмо с глубочайших и искренних извинений за то, что я не написал раньше. Сама мысль о том, что я мог причинить тебе боль или страдания, приводит меня в совершенное отчаяние, но как знать, быть может, я просто лыщу себе, быть может, в эти полтора месяца ты вовсе не думал обо мне так часто, как я думал о тебе.

Я не желаю искать оправданий моему дурному поведению, но лишь хочу объяснить, отчего я не давал о себе знать, потому что не желаю, чтобы мое молчание приняли за недостаток чувства.

В первых числах декабря, вскоре после нашей с тобой последней встречи, я был вынужден уехать на Север, чтобы проведать наших трапперов. Я говорил, по-моему, что наша семья связана долготелными обязательствами с семейством трапперов в Северном Мэне и с годами это стало важной частью нашего предприятия. С собой в поездку я взял своего старшего племянника, Джеймса, который прошлой весной оставил учебу в колледже ради работы у нас.

Моя сестра – вполне предсказуемо – отнеслась к этой затее неблагоприятно, да и я тоже, ведь он мог бы первым в нашей семье окончить колледж, однако он уже взрослый, и нам ничего не оставалось, кроме как уступить его желанию. Он замечательный юноша, бойкий и энергичный, но совсем не выносит качки и, более того, подвержен морской болезни, поэтому на семейном совете было решено готовить его к тому, чтобы впоследствии к нему перешло управление нашей пушной торговлей.

В этот год на Севере стояли небывалые морозы, а наши трапперы, как я уже говорил, живут почти у самой канадской границы. Визит наш был по преимуществу формальный: я думал, что представлю им Джеймса, они возьмут его с собой на промысел, покажут, как ловят животных, как их свежуют и как завяливают мясо, и к Рождеству мы вернемся на Кейп-Код. Но все получилось совсем иначе.

Поначалу все шло так, как и было задумано. Джеймс сразу же сдружился с одним из членов трапперского семейства, весьма смышленным и милым юношей по имени Персиваль, и именно Персиваль несколько дней обучал Джеймса основам их промысла, пока все мы, кто оставался дома, обсуждали, как бы нам увеличить добычу пушнины. Ты, наверное, спросишь, с чего бы нам сейчас заниматься торговлей мехом, когда эта отрасль вот уже шестьдесят лет как в упадке, – и действительно, партнеры наши не преминули об этом спросить. Но именно потому, что британцы нынче практически оставили эту область, мне кажется, у нас появилась возможность оживить наше предприятие, торгуя не только бобровыми шкурами, но, что весьма важно, норкой и горностаем, чей мех мягче, изысканнее и, я полагаю, будет представлять немалую ценность для небольшого, но влиятельного класса заинтересованных покупателей. Помимо прочего, это семейство, Делакруа, одни из тех немногих европейцев, которые по-прежнему занимаются пушным промыслом, а это значит, что на них можно положиться и что они гораздо лучше разбираются во всех тонкостях и хитросплетениях этого дела.

Вечер пятого дня нашего у них пребывания был отведен для досуга, и завершиться он должен был ужином в честь нашего товарищества. Чуть раньше, обходя владения Делакруа, мы заметили прелестный замерзший пруд, и Джеймс загорелся желанием покататься на коньках. День выдался хоть и морозный, но ясный и безветренный, сам пруд находился в какой-нибудь сотне метров от хозяйского дома, да и Джеймс зарекомендовал себя с лучшей стороны, поэтому я позволил ему пойти.

И часа не прошло с его ухода, как погода внезапно переменилась. За считанные минуты небо побелело, затем стало свинцовым, а затем и вовсе почти черным. В мгновение начался снегопад, снег повалил огромными хлопьями.

Я сразу подумал о Джеймсе, как и глава семейства, Оливье, который выбежал мне навстречу, когда я бросился искать его. “Нужно послать Персиваля с собаками, – сказал он. – Он сумеет отыскать дорогу в темноте, он хорошо ее знает”. Заботясь о его безопасности, Оливье привязал один конец длинной веревки к балясине перил, другой – к ремню племянника и

велел мальчику, который на всякий случай вооружился ножом и топором, возвращаться как можно скорее.

И мальчик – спокойно, бесстрашно – отправился в путь, а мы с Оливье стояли на ступенях, глядя на веревку: сначала она разматывалась, потом натянулась. Валил уже такой густой снег, что, стоя у двери, я видел одну лишь белую пелену. Поднявшийся ветер, поначалу тихий, вдруг сделался таким свирепым, стал так завывать, что мне пришлось уйти в дом.

Веревка по-прежнему была туго натянута. Оливье дернул за нее два раза, и через несколько мгновений она два раза дернулась в ответ. Отец мальчика, Марсель, младший брат Оливье, тоже подошел к нам, встревоженный, молчаливый, а за ним и третий брат, Жюльен, и все их жены, и пожилые родители. Дом был выстроен на совесть, но за дверью неистовствовал такой ветер, что тряслись стены.

И вдруг, внезапно, веревка обмякла. Персиваль не было уже минут двадцать, и когда Оливье вновь дернул за веревку, на его сигнал никто не отозвался. Они, конечно, люди стоические, эти Делакура: никак невозможно жить в этой части света, в таких погодных условиях (не говоря уже о прочих опасностях – волках, медведях, пумах и, разумеется, индейцах) и не уметь сохранять спокойствие даже в самые трудные минуты. Но Персиваль был им всем очень дорог, и воздух в коридоре дрожал от нервного напряжения.

Все торопливо, вполголоса обсуждали, что теперь делать. Персиваль взял с собой двух лучших охотничьих собак, и это отчасти должно было его защитить – собаки были приучены к слаженной работе, одна обязательно осталась бы подле Персиваля, пока вторая побежала бы домой за помощью. Но это в том случае, если Персиваль не велел собакам искать и затем караулить Джеймса. Ветер и снегопад достигли такой силы, что казалось, весь дом ходил ходуном, оконные створы колотились о ставни, будто стучащие зубы.

Мы то и дело проверяли, сколько его уже нет: десять минут, двадцать минут. Полчаса. У наших ног мертвой змеей лежала веревка.

И тут, спустя почти сорок минут после того, как ушел Персиваль, дверь затряслась от ударов, которые мы поначалу приняли за порывы ветра и только потом поняли, что кто-то бьется в дверь. Вскрикнув, Марсель проворно отодвинул тяжелый деревянный засов, и когда они с Жюльеном открыли дверь, за ней оказалась собака, облепленная таким толстым слоем снега, что казалось, будто ее запекли в соли, а в ее шею крепко-накрепко вцепился Джеймс. Мы втащили его в дом – на ногах у него по-прежнему были коньки, благодаря которым, как мы потом поняли, он, скорее всего, и спасся, они помогли ему карабкаться в гору, – и жены Жюльена и Оливье кинулись к нему с одеялами и быстро увели в спальню; они грели воду к возвращению мальчиков, было слышно, как они бегают туда-сюда с ведрами, как звонко льется вода в корыто. Мы с Оливье принялись было его расспрашивать, но бедный мальчик продрог, устал и заходился в рыданиях, поэтому понять его было решительно невозможно. “Персиваль, – повторял он. – Персиваль!” Он бешено вращал глазами, будто лишившись рассудка, – и я, признаюсь, был напуган. Что-то случилось, что-то очень напугало моего племянника. – Джеймс, где он? – спрашивал Оливье. – Пруд, – лепетал Джеймс. – Пруд.

Кроме этого, мы ничего не могли от него добиться.

Жюльен потом сказал, что вернувшийся пес скребся у дверей и, скуля, просился обратно. Марсель схватил его за шкуру и оттащил назад, но пес отчаянно выл и рвался из рук, поэтому отец велел им снова отпереть дверь, и собака умчалась в белую тьму.

Снова потянулось ожидание, я переодел Джеймса в теплую пижаму, помог жене Жюльена напоить его горячим тодди и уложить в постель, а затем спустился к остальным – как раз тогда что-то снова принялось страшно толкаться в дверь, и на этот раз Марсель сразу кинулся отпирать, но его возгласы облегчения тотчас же сменились рыданиями. За дверями стояли обе собаки, замерзшие, усталые, с вываленными языками, а между ними, с волосами, превратившимися в сосульки, лежал Персиваль, и его юное прекрасное лицо было того особого голубо-

ватого, неестественного оттенка, какой мог означать лишь одно. Собаки дотащили его домой от самого пруда.

Последующий час был ужасен. Все остальные дети, братья и сестры Персиваля, его кузены и кузины, которым родители велели сидеть наверху, кубарем скатились вниз, увидели, что их любимый брат замерз насмерть и отец с матерью плачут над ним, и тоже принялись плакать. Уж и не помню, как мы сумели их успокоить, как уговорили всех отправиться спать, помню только, что ночь тянулась бесконечно, за окнами – злорадно, как мне теперь казалось, – надсаживался ветер, и снег все шел и шел. И только на следующий день, уже ближе к вечеру, когда Джеймс проснулся и окончательно пришел в чувство, он дрожащим голосом поведал нам, что произошло: когда разыгралась буря, он запаниковал и попытался самостоятельно отыскать обратный путь. Но снег слепил ему глаза, а ветер валил с ног, поэтому его снова и снова сносило обратно к пруду. Он уже было уверился, что здесь и погибнет, как вдруг уловил вдали еле слышный собачий лай и, заметив ярко-алую шапку Персиваля, понял, что спасен.

Персиваль протянул ему руку, и Джеймс ухватился за нее, но в этот миг на них налетел особенно сильный порыв ветра, Персиваля утянуло на лед вслед за ним, и оба они свалились, не удержавшись на ногах. Вновь они встали, попытались подобраться к берегу пруда и вновь упали, не выдержав натиска ветра. Но на этот раз Персиваль упал не совсем ловко. Он вытащил топор – Джеймс сказал, что он хотел воткнуть его в берег, чтобы ухватиться за него как за рычаг и выбраться, – но вместо этого топор пробил лед, который пошел трещинами. “Господи! Джеймс, уходи со льда!” – вот что, по словам Джеймса, прокричал Персиваль.

Джеймс послушался – собаки подползли ближе, он сумел ухватиться за них и встать на ноги, – а затем повернулся к Персивалю, который, скользя ботинками по льду, пытался добраться до берега, но очередной порыв ветра снова сбил его с ног, и в этот раз он опрокинулся на спину, прямо туда, где разбегалась паутина трещин. И тогда, говорил Джеймс, лед со страшным скрипучим стоном раскололся, и Персиваля поглотила вода.

Джеймс закричал от ужаса и отчаяния, но тут из воды высунулась голова Персиваля. Мой племянник схватил конец веревки, которая отцепилась от ремня Персиваля, и бросил ее ему. Но когда Персиваль попытался вылезти, лед опять стал трескаться, и его голова вновь исчезла под водой. Джеймс, конечно, уже метался в панике, но Персиваль, говорил он, был очень спокоен. “Джеймс, – сказал он, – иди домой, зови на помощь. Розы – (так звали одну собаку) – останется со мной. Бери Руфуса, скажешь им, что случилось”. Джеймс колебался, но тот прикрикнул: “Иди! Живо!”

И Джеймс, напоследок оглянувшись на Розы, которая осторожно ползла по льду к тянувшемуся к ней Персивалю, ушел.

Они отошли от пруда на каких-нибудь несколько метров, когда позади раздался какой-то глухой звук; завывания ветра заглушали всякий шум, но Джеймс все же обернулся, и они с Руфусом вернулись к пруду, не различая почти ничего за идущим снегом. Розы кругами носилась по льду, заходясь лаем, Руфус подбежал к ней, и обе собаки, поскуливая, замерли на месте. Сквозь снег Джеймс смутно видел только красную рукавицу Персиваля, цеплявшуюся за лед, но головы его видно не было. Но он различил какое-то бурление под водой, какое-то буйство. Вдруг красная рукавица соскользнула в прорубь, и Персиваль исчез. Джеймс кинулся к пруду, но едва он ступил на лед, как тот проломился под ним, и Джеймс, с мокрыми ногами, еле-еле успел выбраться на сушу. Он принялся звать собак, но, сколько бы он ни кричал, Розы не двигалась со своей льдины. Руфус вывел его обратно к дому, но ветер еще долго доносил до него поскуливания Розы.

Рассказывая эту историю, Джеймс плакал, но теперь и вовсе захлебывался в рыданиях. – Простите, дядя Чарльз! – говорил он. – Простите меня, пожалуйста, мистер Делакура! – Он бы не успел утонуть, – непривычным, слабым и сдавленным голосом сказал Марсель. – Если

бы собаки сумели его спасти. – Он не умел плавать, – тихим голосом прибавил Оливье. – Мы его учили, но он так и не научился.

Можешь себе вообразить, какой ужасной выдалась и следующая ночь, которую я провел с Джеймсом, обнимая и утешая его до тех пор, пока он не забылся сном. На следующий день ветер и снегопад прекратились, небо стало голубым и чистым, а воздух сделался еще холоднее. Вместе с несколькими кузенами Персиваля я расчистил дорожку к леднику, куда Марсель с Жюльеном отнесут тело – похоронят его, только когда оттает земля. На следующий день мы с Джеймсом уехали, сделав остановку в Бангоре, чтобы письмом известить мою сестру о случившемся.

Ты, верно, понимаешь, что с тех пор многое переменялось. И речь сейчас идет не о наших деловых перспективах, об этом я и заговаривать не смею – я выразил семейству Делакруа наши глубочайшие соболезнования, а отец распорядился выслать им денег на постройку коптильни. Но от них пока не было никакого ответа.

Джеймс стал совсем другим. Все каникулы он просидел у себя в комнате, почти ничего не ел, почти ни с кем не разговаривал. Он все сидит и смотрит в одну точку, иногда плачет, но чаще всего просто молчит, и как бы мы с его матерью и братьями ни старались вернуть его к жизни, у нас ничего не получается. Разумеется, он винит себя в трагической гибели Персиваля, хотя я беспрестанно твержу ему, что его вины в этом нет. Мой брат временно взял на себя управление всеми делами, а мы с сестрой проводим подле Джеймса каждую свободную минуту, надеясь, что сможем прорваться к нему сквозь эту завесу горя, надеясь, что еще хотя бы раз услышим его родной смех. Я боюсь и за него, и за горячо любимую сестру.

Понимаю, что мои слова могут показаться ужасными и эгоистичными, но все те дни и недели, что я ухаживал за ним, в своих мыслях я то и дело возвращался к нашему с тобой разговору, после которого меня не оставляет чувство стыда – из-за того, сколько всего я наговорил, сколько взвалил на тебя, сколько эмоций себе позволил, – и поэтому все гадал, что же ты теперь обо мне думаешь. Я говорю это не в упрек тебе, но хочу лишь спросить, не потому ли ты мне больше не пишешь, хотя ты, конечно, мог принять мое молчание за отсутствие интереса и обидеться, и это я тоже пойму.

Из-за смерти Персиваля я все чаще думаю об Уильяме, и о том, какое неизбывное горе охватило меня, когда он умер, и о том, что недолгое время, проведенное вместе с тобой, дало мне надежду снова обрести единомышленника, снова разделить с кем-то не только радости жизни, но и ее печали.

Надеюсь, ты сумеешь простить меня за то, что я так долго не давал о себе знать, и это длинное письмо несколько уверит тебя в моем неизменном интересе и расположении. Через две недели я буду в вашем городе и надеюсь, что мне будет дозволено снова нанести тебе визит, хотя бы ради того, чтобы лично попросить твоего прощения.

Прими мои запоздалые праздничные поздравления и пожелания крепкого здоровья тебе и всей твоей семье. Я ожидаю ответного письма.

*Искренне твой,
Чарльз Гриффит*

Глава 8

Несколько мгновений Дэвид просто сидел, пораженный историей, которую поведал ему Чарльз, историей, которая внезапно выпустила воздух из его собственного головокружительного счастья и одновременно угасила всякое раздражение в адрес бабушки. Он с жалостью думал о бедном юном Джеймсе, чья жизнь теперь, как выразился Чарльз, стала совсем другой и которого вечно будет преследовать эта трагедия – он не виноват, но сам он никогда не поверит в это вполне. Он проведет всю свою взрослую жизнь в попытках искупить свою воображаемую вину или отрицать ее. Первый путь сделает его слабым, второй – озлобленным. А бедный Чарльз снова так близко столкнулся со смертью, и снова это смерть совсем молодого человека.

И еще его мучила совесть, потому что до момента, когда бабушка вручил ему письмо, он и не вспоминал о Чарльзе Гриффите.

Не то чтобы он его забыл, но перестал о нем думать. Сама идея женитьбы потеряла в его глазах всякий интерес, пусть раньше этот интерес и сопровождался опасениями. Внезапно ему показалась трусостью готовность дать себя женить, готовность отказаться от идеи любви ради степенности, респектабельности, надежности. Зачем загонять себя в эту тусклую жизнь, если ему доступна другая? Он представил себе – несправедливо, он знал это, ведь он никогда не был в доме Чарльза – белое деревянное строение, просторное, но совсем простое, красиво обсаженное по периметру кустами гортензии, и он сидит там в кресле-качалке с книгой на коленях и смотрит на море, словно старая дама, ожидая, когда на парадном крыльце зазвучат тяжелые шаги мужа. В эту минуту в нем снова поднимался гнев на бабушку, на бабушкино желание приговорить его к столь бесцветному существованию. Неужели бабушка думает, что это наилучшая жизнь, доступная Дэвиду? Может быть, несмотря на все его возражения, он считает, что место Дэвида – в заточении, если не больничном, то домашнем?

В таких смятенных чувствах вернулся он в бабушкину гостиную и захлопнул дверь громче, чем нужно, так что бабушка взглянул на него в изумлении.

– Прошу прощения, – пробормотал Дэвид, на что бабушка спросил его: – И что же он пишет?

Он молча протянул бабушке исписанные страницы, и бабушка взял их, достал очки и начал читать. Дэвид наблюдал за ним, смотрел, как бабушка все больше хмурится по мере того, как развивается повествование Чарльза. – О господи, – сказал бабушка наконец, снимая и складывая очки. – Бедные мальчики. Бедная семья. Бедный мистер Гриффит – кажется, он в полном отчаянии. – Да, ужасно. – Что он имеет в виду, когда пишет, что его не оставляло чувство стыда после вашего последнего разговора?

Он коротко рассказал бабушке об одиночестве Чарльза и о том, с какой прямотой тот говорил с ним, и бабушка покачал головой – без неодобрения, с сочувствием. – Итак, – сказал он после паузы. – Когда ты собираешься снова с ним встретиться? – Не знаю, – тоже сделав паузу и не поднимая глаз от собственных колен.

В третий раз воцарилось молчание. – Дэвид, – сказал бабушка. – Что-нибудь случилось? – Что ты имеешь в виду? – Ты как-то... отдалился. Ты хорошо себя чувствуешь?

Он вдруг понял: бабушка опасается, что у него начинается очередной приступ болезни, и хотя это задело его, ему хотелось рассмеяться от того, как ошибочно бабушка оценивает его жизнь, как мало на самом деле о нем знает, хотя эта мысль в то же время его и печалила. – Я прекрасно себя чувствую. – Мне казалось, тебе нравится беседовать с мистером Гриффитом. – Да. – Ему, несомненно, нравится беседовать с тобой, Дэвид. Не так ли?

Он встал, взял кочергу, поворошил ею в камине, наблюдая, как рассыпаются и трескаются ровно сложенные поленья. – Вероятно.

И потом, когда бабушка ничего не ответил: – Почему ты хочешь, чтобы я женился?

Он услышал удивление в дедушкином голосе: – Что ты имеешь в виду? – Ты говоришь, что это мое решение, но кажется, что решение это твое. Твое и мистера Гриффита. Почему ты хочешь, чтобы я женился? Потому что считаешь это для меня наилучшим выходом? Потому что я не могу сам о себе позаботиться?

Он не мог повернуться и взглянуть в лицо дедушке, его собственное лицо горело, и от близости огня, и от собственной дерзкой вспышки.

– Я не знаю и не могу понять, что заставило тебя так думать, – начал дедушка медленно. – Как я говорил не только тебе, но вам всем, я много работал для того, чтобы мои внуки вступали в брак по одной-единственной причине: из-за желания соединить с кем-то свою жизнь. Ты, Дэвид, ты сам дал мне понять, что заинтересован в таком развитии событий, только поэтому Фрэнсис стала рассматривать предложения. Как ты помнишь, ты отверг несколько вариантов, даже не встретившись с джентльменами – прекрасными кандидатами, замечу, – и поэтому, когда поступило предложение от мистера Гриффита, Фрэнсис высказала мнение, которое я поддержал, что я должен настоять, чтобы ты по крайней мере попытался допустить мысль о встрече, прежде чем снова заставить всех впустую тратить время. Это делается ради твоего будущего счастья, Дэвид, – все для этого. Не ради меня, не ради Фрэнсис, уверяю тебя. Это делается для тебя и только для тебя, и если тебе кажется, что я испытываю недовольство, раздражение, – это не так, я всего лишь недоумеваю. Ты один принимаешь решения, весь процесс начался по твоей инициативе. – И если я отверг столько кандидатов, то мне остался – кто? Люди, которых никто больше не возьмет? Вдовец? Старик без всякого образования?

При этих словах дедушка поднялся на ноги так стремительно, что Дэвид испугался, что он сейчас его ударит; он схватил Дэвида за плечо и развернул лицом к себе. – Ты поражаешь меня, Дэвид. Я никогда не учил тебя и твоих брата с сестрой говорить о людях в подобном тоне. Ты молод, да, моложе, чем он. Но, как я думал, у тебя есть мудрость, а у него, очевидно, чувствительная душа, а многие браки построены на гораздо меньшем. Я не знаю, что вызвало эту... эту истерику, это твое подозрение. Он явно увлечен тобой. Возможно, даже любит тебя. Я думаю, ты сможешь обсудить с ним свои сомнения – например, где вы будете жить. У него есть дом в городе, он никогда не говорил Фрэнсис, что ты должен жить в Массачусетсе, если это тебя беспокоит. Но если ты вовсе в нем не заинтересован, ты обязан ему об этом сказать. Таков твой долг перед этим джентльменом. И ты должен сделать это лично, со всей возможной добротой и благодарностью. Я не знаю, что с тобой происходит, Дэвид. В последний месяц ты изменился. Я собирался поговорить с тобой, но ты теперь так редко доступен.

Дедушка умолк, и Дэвид отвернулся и уставился на огонь, лицо его горело от стыда. – Ох, Дэвид, – продолжал дедушка ласково, – ты так мне дорог. И ты прав – я хочу, чтобы ты был с кем-то, кто будет заботиться о тебе; не потому, что считаю, будто ты не можешь позаботиться о себе сам, но потому, что, по моему убеждению, ты будешь счастливее в брачном союзе. В последние годы, после того как ты вернулся из Европы, ты все больше и больше отдалялся от мира. Я знаю, твои недомогания истощили тебя – я знаю, как они тебя изматывали и как ты стыдился их. Но, дитя мое, этот человек пережил великое горе и болезнь в прошлом, и он не убежал прочь, и потому тебе стоит подумать о нем, он всегда будет заботиться о твоем счастье. Такого человека я хочу для тебя.

Они оба стояли в молчании. Дедушка смотрел на Дэвида, Дэвид смотрел в пол. – Скажи мне, Дэвид, – медленно проговорил дедушка. – В твоей жизни есть кто-то другой? Ты можешь сказать мне, мой мальчик. – Нет, дедушка, – сказал он, глядя себе под ноги. – Тогда ты должен написать мистеру Гриффиту сейчас же и сказать, что ты принимаешь его предложение о новой встрече. На этой встрече ты либо полностью разорвешь отношения с ним, либо скажешь о своем намерении продолжить общение. И если ты решишь встречаться с ним дальше, Дэвид, – и хотя ты не спрашиваешь моего мнения, но я думаю, именно так тебе следует поступить, – ты

должен это сделать с искренностью и душевной щедростью, на которые, я знаю, ты способен. Это твой долг перед ним. Ты можешь мне это обещать?

И Дэвид обещал.

Глава 9

Следующие несколько дней были необыкновенно насыщенными: в один вечер семья собралась на день рождения Вульфа, в другой – на день рождения Элизы, и поэтому только в четверг он смог встретить Эдварда у школы после его урока и пойти с ним в пансион. По дороге Эдвард продел левую руку под правую руку Дэвида, и Дэвид, который никогда прежде не ходил ни с кем под руку, прижал руку Эдварда поближе, хотя и оглянулся сначала, не видит ли кучер, потому что не хотел, чтобы кучер доложил об этом Адамсу, а тот дедушке.

В тот вечер, когда они лежали вдвоем – Дэвид принес с собой одеяло из тонкой шерсти, мягкого сизого оттенка, Эдвард даже вскрикнул от восторга, и теперь они завернулись в него, – Эдвард говорил о своих друзьях. “Компания отщепенцев”, – смеялся он, почти хвастливо, и, кажется, был прав: Теодора, блудная дочь богатой семьи из Коннектикута, решившая стать певицей “в одном из ночных клубов, которые приводят тебя в такой ужас”; Гарри, совершенно нищий и невероятно красивый молодой человек, ставший компаньоном “очень состоятельного банкира – твой дедушка наверняка его знает”; Фриц, художник, судя по описанию, совершенно никчемный (хотя Дэвид, конечно, не сказал этого вслух); и Марианна, которая училась в художественном училище и давала уроки рисования для заработка. Все они были одного поля ягоды: молодые, безденежные (хотя только некоторые – в силу обстоятельств рождения), беспечные. Дэвид представлял их в своем воображении: Теодора – хорошенькая, стройная, нервная, с копной блестящих темных волос; Гарри, светловолосый, черноглазый, пухлогубый; Фриц, с кожей землистого цвета, дерганный, с тонкогубой кривой усмешкой; Марианна, кудрявая блондинка с открытой улыбкой. “Мне бы очень хотелось как-нибудь с ними познакомиться”, – сказал он, хотя не был в этом уверен – ему бы хотелось сделать вид, что их не существует, что Эдвард принадлежит ему одному, – и Эдвард, как будто зная это, только улыбнулся и сказал, что, может быть, когда-нибудь это произойдет.

Слишком скоро настало время уходить, и, застегивая пальто, он сказал: – Увидимся завтра.

– Ой, нет, я забыл сказать – я завтра уезжаю! – Уезжаешь? – Да, одна из моих сестер, одна из тех двух, что в Вермонте, ждет ребенка, и я собираюсь повидаться с ней и с остальными. – О, – сказал Дэвид. (А если бы он не упомянул о завтрашней встрече, сказал бы ему Эдвард, что уезжает? Или Дэвид пришел бы в пансион, как всегда, и сидел бы в гостиной, ожидая, пока появится Эдвард? Сколько бы он прождал – несколько часов, вероятно, но сколько именно? – прежде чем признал бы поражение и вернулся на Вашингтонскую площадь?) – Когда ты вернешься? – В конце февраля. – Так долго! – Не так уж и долго! Февраль короткий. Кроме того, не до самого конца – до двадцатого февраля. Совсем не долго! И я буду тебе писать. – На лице Эдварда медленно расплывалась вкрадчивая улыбка; он отбросил одеяло, встал и обнял Дэвида. – А что? Ты будешь скучать по мне?

Дэвид покраснел. – Ты сам знаешь. – Но это так мило! Я так польщен.

В течение последних недель речь Эдварда потеряла часть своей театральности, свою драматическую аффектированность, но теперь эта интонация вновь вернулась, и Дэвид, услышав знакомые модуляции, внезапно ощутил неловкость – то, что раньше не беспокоило его, теперь казалось фальшивым, неискренним, странно тревожащим, и потому, когда он попрощался с Эдвардом, к искренней печали примешивалось какое-то еще безымянное, но тягостное чувство.

Но уже к следующей неделе это неприятное чувство растворилось, и осталась только беспримесная тоска. Как быстро Эдвард изменил его! Как невыносима без него жизнь! Его вечера снова были пусты, и он проводил их как прежде: за чтением, рисованием и вышиванием, хотя большую часть времени он просто грезил наяву и бесцельно бродил по парку. Он даже зашел

как-то в кафе, где они чуть было не выпили свой первый совместный кофе, и на этот раз он сел, заказал кофе и медленно выпил его, взглядывая на дверь каждый раз, как она открывалась, как будто вошедший мог оказаться Эдвардом.

Когда он вернулся домой из кафе, Адамс сказал ему, что пришло письмо, и оно оказалось от Чарльза Гриффита – Чарльз приглашал его на обед в свой дом на следующей неделе, когда он будет в городе. Дэвид вежливо принял приглашение, но без особых ожиданий, собираясь только выполнить просьбу бабушки и просьбу Чарльза позволить ему лично принести извинения, и в тот вечер он так поздно пришел домой из кафе, что успел лишь переодеться и поплескаться воды в лицо, прежде чем забраться в уже ждущий его экипаж.

Дом Чарльза Гриффита находился возле того дома, где Дэвид провел детство, почти сразу за Пятой авеню. Их дом был большим, но дом Чарльза еще больше и заметно шикарнее, с широкой изогнутой мраморной лестницей, которая вела в верхние гостиные, где ожидал хозяин – при виде Дэвида он встал. Они обменялись церемонным рукопожатием. – Дэвид, как я рад тебя видеть. – И я тебя, – сказал он.

К его удивлению, это было правдой. Они сидели в великолепной гостиной – Дэвид представил, как стал бы фыркать Питер, который обращал внимание на такие вещи, если б увидел эту комнату с ее чрезмерно богатыми тканями и сочными цветами, чрезмерно мягкими диванами, множеством сияющих ламп, с парчовыми драпировками на стенах, почти лишенных картин, – и снова беседа их текла легко и естественно. Дэвид спросил о Джеймсе, увидел, как горестная тень легла на лицо Чарльза (“Спасибо, что спрашиваешь, боюсь, ничего не изменилось”), о неизменном молчании со стороны семейства Делакура и о том, как каждый из них провел праздники.

Когда они селись обедать, Чарльз сказал: – Я помню, ты говорил, что устричный суп – одно из твоих любимых блюд. – Да, – сказал он, и тут внесли супницу, из которой исходил пар с характерным ароматом, и в тарелку ему налили немного супа. Он попробовал – бульон был густым и пряным, устрицы жирными и маслянистыми. – Очень вкусно. – Рад, что тебе нравится.

Он был растроган этим жестом, и все вместе – этот суп, скромное честное блюдо, казавшееся еще скромнее и честнее в чрезмерно роскошной столовой с длинным блестящим столом, за который можно было усадить двадцать человек, но сидели за ним только двое, и вазы со свежими цветами, стоящие везде, куда ни бросишь взгляд, и доброта, словно разлитая в воздухе, – вызвало теплое чувство к Чарльзу, так что Дэвиду захотелось доставить ему удовольствие в ответ. – Ты знаешь, – начал он, принимая добавку супа, – что я родился здесь неподалеку? – Не знал, – сказал Чарльз. – Ты говорил, твои родители умерли, когда ты был маленьким. – Да, в семьдесят первом. Мне было пять, Джону четыре, Иден два. – Инфлюэнца? – Да, они умерли очень быстро. Дедушка сразу же нас забрал. Представляешь, посадить себе на голову трех чертенят, и все меньше чем за месяц.

Чарльз рассмеялся: – Я уверен, вы не были чертенятами. – Еще как были. Но хотя со мной было нелегко, Джон был еще хуже.

Они оба рассмеялись, и он обнаружил, что делает то, чего давно не делал, – пересказывает те немногие эпизоды, которые помнит о своих родителях: они оба работали в фирме “Братья Бингемы”, отец был банкиром, а мать юристом. В его воспоминаниях они всегда уходили – утром на работу, вечером в гости, на званый ужин, в театр, в оперу. В его воображении жил туманный, призрачный образ матери, изящной стройной женщины с длинным прямым носом и копной темных волос, но он не знал, настоящее ли это воспоминание или же воспроизведение рисунка – ее миниатюрного портрета, который ему дали, когда она умерла. Об отце Дэвид помнил и того меньше. Знал, что тот был светловолос и зеленоглаз: дедушка взял его младенцем из немецкой семьи, которая работала на фирму – у них было слишком много детей и слишком мало денег, – вырастил его один, именно от него Дэвид, его брат и сестра унаследовали свою

раскраску. Он помнил, что отец был мягким человеком, но более игривым, чем мать, и по воскресеньям, когда они приходили из церкви, он ставил перед собой Джона и Дэвида и протягивал им руки, сжатые в кулаки. Они должны были угадать – в одну неделю Дэвид, в другую Джон, – в какой руке у него конфета, и если они угадывали неправильно, он всегда поворачивался, чтобы уйти, но они протестовали, и он возвращался с улыбкой и все равно отдавал им сладости. Дедушка всегда говорил, что Дэвид характером в отца, а Джон и Иден в мать.

Когда Дэвид упомянул брата и сестру, разговор перешел на них; он рассказал, что с тех пор как Джон и Питер поженились, их сходство во взглядах и привычках все усиливалось; что они оба работают в фирме – словно повторяя родителей, Джон банкир, Питер юрист. И еще он говорил об Иден, о ее учебе в медицинском колледже и о благотворительной работе Элизы. Чарльз знал их по именам, их все знали, поскольку о них всегда писали в светских колонках газет, когда они появлялись на званом ужине или устраивали костюмированный бал; Иден превозносили за чувство стиля и остроумие, Джона за умение вести беседу – Чарльз спросил, привязан ли к ним Дэвид, и хотя Дэвид не боялся осуждения Чарльза, он соврал и ответил, что да. – Значит, вы с Иден – бунтари, отказавшиеся продолжить семейный бизнес. Или наоборот, бунтарь Джон – в конце концов, он ведь остался в меньшинстве. – Да, – сказал он, начиная нервничать, он уже видел, куда клонится беседа, и, прежде чем Чарльз спросил, продолжил: – Я хотел работать с дедушкой. Я хотел. Но я...

К своему смутению и ужасу, он не смог продолжить. – Что ж, – сказал Чарльз негромко, нарушая молчание. – Мне говорили, ты прекрасный художник, а художники не должны гнуть спину в банке. Я уверен, твой дедушка тоже так думает. Если бы кто-то из членов моей семьи имел хоть какие-то художественные дарования, уверяю тебя, мы бы ни в коем случае не ожидали, что он будет складывать цифры, или прочерчивать морские маршруты, или уламывать трейдеров и совершать сделки. Но к сожалению, на это у нас совсем мало надежды, потому что Гриффиты, увы, крайне приземленные люди.

Он засмеялся, неловкость рассеялась, и Дэвид, придя в себя, наконец рассмеялся вместе с ним, чувствуя, как в душе растет благодарность к Чарльзу. – Практичность – это добродетель, – сказал он. – Возможно. Но слишком много практичности, как и слишком много добродетели, – это очень скучно, по-моему.

После ужина они выпили по стаканчику, и Чарльз проводил его к выходу. По тому, как Чарльз замешкался, как взял обе его руки в свои, Дэвид видел, что он хочет его поцеловать, и хотя они провели приятный вечер и он мог признаться себе, что этот человек ему нравится, и даже очень, но, глядя на лицо Чарльза, покрасневшее от вина, на живот, который не мог скрыть даже хитроумно скроенный жилет, Дэвид невольно сравнивал его с Эдвардом – со стройной фигурой, гладкой бледной кожей Эдварда.

Он знал, что Чарльз не будет требовать от него ласки, и потому Дэвид просто положил свою руку на его, как он надеялся, прощальным жестом и поблагодарил за прекрасный вечер.

Если Чарльз и был разочарован, он ничем это не выказал. – Это я должен говорить тебе спасибо, – сказал он. – Благодаря тебе я испытал немного счастья в этот страшно трудный год. – Но год только начался. – Это правда. И если мы снова встретимся, он станет еще лучше.

Он знал, что должен ответить согласием или же сказать Чарльзу, что отклоняет его предложение брака, хотя глубоко благодарен и польщен – ведь так оно и было, – и пожелать ему счастья и удачи.

Но уже во второй раз за вечер слова оставили его, и Чарльз принял молчание Дэвида как своего рода согласие, просто наклонился, поцеловал его руку и открыл дверь в прохладную ночь, где второй кучер Бингемов стоял на тротуаре и придерживал открытой дверь экипажа, а снег припорошивал его черный плащ.

Глава 10

Всю следующую неделю (как и предыдущую) он каждый день писал Эдварду. Эдвард обещал прислать адрес сестры в первом же письме, но прошло уже две недели, а от него так и не было вестей. Дэвид спрашивал в пансионе, не оставляли ли для него адрес, и даже выдержал встречу с устрашающей начальницей приюта, но ни там ни там не получил никаких сведений. И все же он продолжал писать по письму в день и посылал эти письма со слугой в пансион, на случай, если Эдвард сообщит им о своем местонахождении.

Он чувствовал, как бесцельность существования переходит в отчаяние, и каждый вечер составлял себе план на следующий день, который бы позволил ему находиться где-нибудь подальше от Вашингтонской площади до определенного часа после первой почты, к каковому времени он либо выйдет из экипажа, либо обогнет угол пешком, возвращаясь из музея, из клуба, после беседы с Элизой, которая нравилась ему больше всех и которую он иногда навещал, если знал, что Иден будет на своих занятиях. Дедушка подчеркнуто ничего не спрашивал после его ужина с Чарльзом Гриффитом, и Дэвид сам ничего ему не говорил. Жизнь вошла в доэдвардовский ритм, но теперь дни стали еще более серыми, чем раньше. Теперь он заставлял себя ждать полчаса после обычного времени прибытия почты и наконец поднимался к себе, сдерживаясь, чтобы не спрашивать у Адамса или Мэтью, нет ли для него письма, как будто таким образом он мог заставить письмо материализоваться в награду за дисциплину и терпение. Но проходил день за днем, и почта принесла ему лишь два письма от Чарльза, в обоих тот спрашивал, не хочет ли Дэвид сходить с ним в театр: первое предложение он отклонил, вежливо и быстро, сославшись на семейные дела, второе просто проигнорировал – он боялся наговорить грубостей в сердцах, рассердившись, что письмо не от Эдварда, и лишь набросал короткую записку, извинившись и сообщив, что простужен и сидит дома.

В начале третьей недели после отъезда Эдварда он взял экипаж и отправился на запад, со своим ежедневным письмом в руках, решив самостоятельно выяснить, где все-таки находится Эдвард. Но в пансионе он нашел только бледную маленькую горничную, которая, кажется, проводила большую часть времени, таская ведро с грязной водой с этажа на этаж. «Не знаю, сэр, – пробормотала она, с сомнением разглядывая ботинки Дэвида, и отшатнулась от письма, которое он пытался ей вручить, словно оно могло ее обжечь. – Он не сказал, когда вернется». Дэвид вышел из здания, но остался стоять на тротуаре, вглядываясь в окна Эдварда с плотно задернутыми темными шторами – они выглядели точно так же, как все последние шестнадцать дней.

В тот вечер он, однако, вспомнил кое-что полезное, и когда они с дедушкой устроились в привычных креслах после ужина, он спросил: – Дедушка, ты слышал о женщине по имени Флоренс Ларссон?

Дедушка внимательно оглядел его, прежде чем набить трубку табаком и затянуться. – Флоренс Ларссон, – повторил он. – Давно я не слышал этого имени. Почему ты спрашиваешь? – О, Чарльз говорил, что один из его клерков живет в пансионе, которым она владеет, – ответил он, испытывая неловкость не только от собственного двуличия, но и от того, что вмешивает в это Чарльза. – Значит, это правда, – пробормотал дедушка, словно обращаясь сам к себе, и вздохнул. – Заметь, я никогда не знал ее лично, она еще старше, чем я; честно говоря, я удивлен, что она до сих пор жива. Но когда она была примерно в твоём возрасте, она оказалась замешана в ужасный скандал. – Что случилось? – Гм. Она была единственной дочерью довольно состоятельного человека – врача, кажется, – и сама училась на врача. Потом она познакомилась с молодым человеком – не помню его имени – на каком-то вечере в доме своей кузины. Он был, говорят, необыкновенно хорош собой и чрезвычайно обаятелен, без гроша в кармане – один из тех молодцев, которые возникают из ниоткуда, ни с кем не знакомы и все же

благодаря внешности и бойкому языку умудряются возвращаться в хорошем обществе. – И что произошло? – То, что обычно происходит в подобных обстоятельствах, как ни жаль. Он стал ухаживать за ней, она влюбилась; отец грозил лишить ее наследства, если она выйдет замуж за этого человека, но она все равно вышла. У нее было состояние, доставшееся ей от покойной матери, и вскоре после свадьбы он скрылся со всеми ее деньгами, до последнего пенни. Она осталась без средств к существованию, и хотя отец разрешил ей вернуться домой, он оказался настолько мстителен – по слухам, он был очень черствый человек, – что выполнил свою угрозу и лишил ее наследства. Если она еще жива, то живет в доме своей покойной тети с тех самых пор, как умер отец. Судя по всему, она так и не оправилась от случившегося. Бросила учебу. Никогда больше не вышла замуж – даже не рассматривала такую возможность, насколько я понимаю.

Он почувствовал, как его сковало холодом. – А что случилось с тем человеком? – Кто знает? Много лет о нем ходили разные слухи. Его видели здесь и там, он уехал не то в Англию, не то на Континент, женился не то на этой наследнице, не то на другой – но никто ничего не знал наверняка, и он никогда больше здесь не объявлялся. Но, Дэвид, что с тобой? Ты побледнел! – Ничего, – с трудом выговорил он. – Кажется, сегодняшняя рыба не пошла мне на пользу. – О боже, ты ведь любишь камбалу.

Наверху, в безопасности своего кабинета, он попытался успокоиться. Невольные сравнения, пришедшие ему на ум, просто смехотворны. Да, Эдвард знал о его деньгах, но никогда ничего не просил и даже стеснялся принять одеяло, и они никогда не обсуждали женитьбу. И все-таки что-то в этой истории его расстроило, как будто это был отголосок другой истории, еще худшей, которую он где-то слышал, но не мог вспомнить, как ни старался.

В ту ночь он не мог уснуть и впервые за долгое время провел утро в постели, отмахнувшись от завтрака, предложенного горничной, рассматривая водяное пятно на потолочном плинтусе, там, где встречались две стены. Это желтое пятно было его секретом, и когда он был заточен в своей комнате, он глазел на него часами, в уверенности, что если отвернуться или моргнуть, то вся комната превратится в незнакомое место, ужасающе темное и тесное: келью монаха, трюм корабля, дно колодца. Одно пятно держало его в этом мире и требовало неусыпной сосредоточенности.

Во время своих недомоганий он иногда не мог даже стоять, но сейчас он не был болен, его просто мучил страх перед чем-то, что не имело названия, и в конце концов он заставил себя умыться и одеться, но когда он спустился вниз, был уже вечер. – Вам письмо, мистер Дэвид.

Сердце забило чаще. – Спасибо, Мэтью.

Но, взяв письмо с серебряного подноса, он положил его на стол и сидел, руки на коленях, стараясь унять сердцебиение, дышать медленнее и глубже. Наконец Дэвид осторожно протянул руку и снова взял письмо. Это не от него, повторял он себе.

Так и оказалось. Это была еще одна записка от Чарльза – Чарльз спрашивал о его здоровье и приглашал на декламацию в пятницу вечером: будут читать сонеты Шекспира, я знаю, ты их любишь.

Он сидел, сжимая в руке письмо, разочарование смешивалось с другим чувством, которое он снова не мог определить. Потом, не давая себе передумать, он позвонил, велел Мэтью принести бумагу и чернила и быстро написал ответ Чарльзу, принимая его приглашение, отдал конверт Мэтью, попросил доставить незамедлительно.

Когда это было сделано, последние силы покинули его, он встал и медленно проделал путь наверх, обратно в свои комнаты; там он позвонил горничной и просил сказать Адамсу, чтобы тот сказал дедушке, что он все еще неважно себя чувствует и не будет сегодня ужинать. После этого Дэвид встал посреди кабинета и огляделся, пытаясь найти что-нибудь – книгу, картину, папку с рисунками, – чтобы отвлечься, отогнать вновь овладевшее им тягостное чувство.

Глава 11

Сонеты декламировала группа, состоявшая из одних женщин, у которых энтузиазма было явно больше, чем таланта, однако они были достаточно молоды, чтобы можно было с удовольствием их разглядывать, легко прощать им неумелость и аплодировать в конце представления. Он не был голоден, но Чарльз был и предложил – с надеждой, как показалось Дэвиду, – перекусить что-нибудь у него дома. – Что-нибудь простое, – сказал он, и Дэвид от нечего делать согласился, ему хотелось отвлечься.

В доме Чарльз предложил устроиться в его верхней гостиной, которая хоть и оказалась так же вызывающе роскошна, как и нижняя, – ковры настолько толстые, как будто под ноги бросили шубы, занавеси из полуселковой зонтичной ткани потрескивали, словно горящая бумага, при каждом прикосновении, – но была хотя бы поменьше, более уютной. – Мы можем поесть прямо здесь? – спросил Дэвид. – Здесь? – переспросил Чарльз, поднимая бровь. – Я велел Уолдену накрыть в столовой. Но с удовольствием останусь здесь, если ты это предпочтешь. – Как хочешь, – ответил он, внезапно теряя интерес не только к трапезе, но и к этому разговору. – Сейчас распоряжусь, – сказал Чарльз и дернул за шнур звонка. – Хлеб, сыр, масло и, может быть, немного холодного мяса, – сказал он вернувшемуся дворецкому, поворачиваясь к Дэвиду за одобрением, которое тот выразил кивком.

Он был настроен молчать, ребячески дуться, но приятные манеры Чарльза в очередной раз взяли верх, и он увлекся беседой. Чарльз рассказал Дэвиду об остальных своих племянниках: Тедди оканчивает последний курс в Амхерсте (“Теперь к нему перейдет от Джеймса титул первого члена нашей семьи, окончившего колледж, я намерен его за это наградить”), Генри вскоре поступит в Университет Пенсильвании. (“Так что мне придется теперь гораздо чаще ездить на Юг – да, я считаю это Югом”.) Он говорил о них с такой любовью, с такой теплотой, что Дэвид обнаружил в себе иррациональную зависть.

Конечно, для этого не было никаких оснований – дедушка ни разу в жизни не сказал ему недоброго слова, и он ни в чем не нуждался. Но может быть, это чувство было направлено на другое: он видел, как Чарльз гордится ими, и знал, что не сделал ничего, чтобы его дедушка мог испытать подобную гордость.

Допоздна они говорили о разных сторонах жизни: о своих семьях, о друзьях Чарльза; о войнах на Юге; о политике разрядки между их страной и штатом Мэн, который имел полуавтономный статус в составе Союза, так что жителей Свободных Штатов там терпели гораздо охотнее, хотя и не принимали полностью; об отношениях с Западом, где потенциальная опасность была гораздо больше. Несмотря на то что они затрагивали порой невеселые темы, между ними царила непринужденность, и Дэвид несколько раз ловил себя на желании открыться Чарльзу как другу, а не как человеку, который сделал ему предложение, и рассказать ему об Эдварде: о его темных живых глазах; о том, как вспыхивает розовым ложбинка на его горле, когда он говорит о музыке или живописи; о том, сколько трудностей он преодолел, чтобы пробиться в этом мире в одиночку. Но потом он вспоминал, где находится и кто ему Чарльз, и останавливался. Если уж он не мог заключить Эдварда в объятия, он надеялся хотя бы почувствовать на языке его имя; говоря о нем, он оживит свои воспоминания. Ему хотелось хвастаться Эдвардом, хотелось сказать каждому, кто готов слушать: вот кто меня выбрал, вот с кем я провожу время, вот кто вернул меня к жизни. Но нельзя было поддаваться этому порыву, так что оставалось лишь носить в себе тайну Эдварда, горевшую у него внутри белым пламенем, этот яркий, чистый огонь, который грел его одного и который, как он боялся, мог исчезнуть, если попытаться рассмотреть его слишком пристально. Думая об Эдварде, он как будто мог вызвать его призрак, видимый лишь ему одному: вот он облокотился о секретер в углу комнаты за Чарльзом, вот он улыбается Дэвиду, и только Дэвиду.

И все же – он знал – Эдвард был далеко отсюда не только телом, но и духом. Неделями он ждал и ждал от него вестей, прилежно писал письма (в которых баланс между забавными, как он надеялся, подробностями о его жизни и о городе и лихорадочными признаниями и тоской все больше смещался в сторону последних), его беспокойство сменялось недоумением, недоумение замешательством, замешательство обидой, обида тоской, тоска гневом, гнев отчаянием, пока он не возвращался к началу цикла и все не повторялось сначала. Прямо сейчас все эти чувства нахлынули на него одновременно, и он не мог уже отличить одно от другого, и все они были обострены беспримесным и глубоким вожделением. Как ни странно, присутствие Чарльза, который был добр к нему, с которым можно было чувствовать себя непринужденно, делало эти чувства сильнее и от этого невыносимее – он понимал, что, рассказав Чарльзу о своих мучениях, он получит совет и сочувствие, но, конечно, жестокость его положения заключалась в том, что именно Чарльзу он никогда не сможет этого рассказать.

Он думал обо всем этом, снова и снова обращаясь к своему безвыходному положению, как будто при очередном рассмотрении проблемы решение волшебным образом найдется само собой, и тут осознал, что Чарльз замолчал, а он был так погружен в свои мысли, что давно уже его не слушал.

Он торопливо и многословно извинился, но Чарльз лишь покачал головой, а потом встал с кресла, перешел к дивану, где сидел Дэвид, и устроился рядом. – Что-то не так? – спросил Чарльз. – Нет, нет, прости. Я просто устал, наверное, а у огня так тепло и хорошо, и я начал немного дремать, надеюсь, ты извинишь меня.

Чарльз кивнул и взял его за руку. – И все же ты очень рассеян, – сказал он. – Тебя как будто что-то гнетет. Это что-то, о чем ты не можешь мне рассказать?

Он улыбнулся, чтобы не волновать Чарльза. – Ты так добр ко мне, – ответил он и пылко добавил: – Так добр! Хотел бы я знать, каково это – иметь такого друга. – Но ведь я и есть твой друг, – сказал Чарльз, тоже улыбаясь, и Дэвид понял, что ответил опрометчиво, что он делает сейчас именно то, чего дедушка не велел делать ни в коем случае. Он поступал так не нарочно, но это не имело никакого значения. – Я надеюсь, ты будешь видеть во мне друга, – продолжал Чарльз низким голосом, – но не только друга. – И он положил руки на плечи Дэвида, и поцеловал его, и продолжал целовать, поднимая его на ноги и расстегивая его брюки, и Дэвид позволил Чарльзу раздеть себя и ждал, когда тот разденется сам.

В экипаже по дороге домой он проклинал собственную глупость – в состоянии душевной смуты он позволил Чарльзу увериться, что он все-таки готов взять его в мужья. Он знал, что с каждой встречей, с каждой беседой, с каждым письмом, на которое он отвечал, идет все дальше и дальше по пути, неизбежно ведущему к одному финалу. Еще было не поздно остановиться, объявить о своем решении свернуть с этой дороги, отступить – он еще не дал слово, не подписал бумаги, и даже если он вел себя дурно, ввел Чарльза в заблуждение, пока еще он не нарушает обещание, – но если он поступит так, он знал, что и Чарльз, и дедушка будут справедливо уязвлены, а возможно, и разгневаны и виноват в этом будет только он. Он уступил Чарльзу отчасти из благодарности за сочувствие (и, если уж совсем честно, Дэвид отчасти вознаграждал Чарльза за его преданность, в то время как в преданности Эдварда он был совсем не уверен), но еще одна причина была куда менее благородной и возвышенной: ощущение безвыходной и неудовлетворенной похоти, желание наказать Эдварда за молчание и исчезновение, необходимость отвлечься от своего трудного положения. Поступая так, он самолично создал для себя очередное затруднение: теперь ему очевидно отводилась роль преследуемого, объекта чужого вожделения. Ему было тошно от собственных мыслей, от того, что он оказался настолько тщеславен и эгоистичен, что дал другому человеку, хорошему человеку, напрасную надежду, поощрил его чувство просто потому, что его гордость была задета и он хотел взять реванш.

Однако чувство было таким сильным, этот голод, это желание подавить отчаяние от исчезновения Эдварда, от его упорного молчания, что в следующие три недели – три недели, в которые двадцатое февраля наступило и прошло, три недели, в которые от Эдварда по-прежнему не было ни слова, – он снова и снова возвращался в дом Чарльза. Видя Чарльза и его радостное, нескрываемое волнение, Дэвид одновременно ощущал могущество и презрение; наблюдая, как Чарльз возится с его пуговицами неловкими от нетерпения пальцами, как поспешно закрывает на ключ дверь верхней гостиной, как только удалится Уолден, он чувствовал себя соблазнителем, обольстителем, но позже, когда Чарльз шептал ему на ухо нежности, он ощущал только стыд за него. Он знал: то, что он делает, – неправильно, даже дурно – близость перед договорным браком поощрялась, но лишь единожды или дважды, чтобы удостовериться в совместимости с предполагаемым суженым, – и все же он не находил в себе сил остановиться, даже когда в глубине души его мотивы становилось все труднее оправдать, даже когда его совершенно необоснованное презрение к Чарльзу стало стучаться в своего рода отвращение. Но и здесь он тоже запутался. Он не получал удовольствия от отношений с Чарльзом: ему было приятно внимание, постоянное и неизменное возбуждение Чарльза, его физическая сила, но он считал Чарльза слишком прямолинейным, одновременно скучным и неутонченным, – однако продолжение этих отношений делало воспоминания об Эдварде необъяснимо острее, поскольку он все время их сравнивал, не в пользу Чарльза. Чувствуя, как об него трется брюшко Чарльза, он тосковал по эльфической стройности Эдварда и представлял, как он рассказал бы Эдварду о Чарльзе и как Эдвард бы рассмеялся своим низким обворожительным смешком. Но конечно, не было рядом никакого Эдварда, чтобы рассказать ему, разделить эту недобрую, невысказанную насмешку над человеком, который был рядом, надежным, верным, отзывчивым во всех смыслах – над Чарльзом Гриффитом. Чарльз стал неприятен ему, оттого что доступен, но та же щедрая его доступность делала Дэвида менее уязвимым, менее беспомощным перед лицом неизменного молчания Эдварда. Он даже стал лелеять в себе маленькую ненависть к Чарльзу, за то, что тот любит его слишком сильно, но еще больше за то, что он не Эдвард. Растущее отвращение заставляло его чувствовать себя жертвой, как будто он накладывал на себя сладкое наказание, в почти религиозном акте унижения, который – пусть только в его глазах – доказывал, как много он готов претерпеть, чтобы однажды воссоединиться с Эдвардом.

– Кажется, я влюблен в тебя, – сказал ему Чарльз как-то в начале марта, когда Дэвид собирался уходить, застегивая рубашку и оглядываясь в поисках галстука. Но хотя он произнес это вполне отчетливо, Дэвид притворился, что не слышит, и лишь небрежно попрощался через плечо, прежде чем уйти. Он видел, что Чарльз испытывает замешательство и обиду из-за его холодности, его теперь уже несомненного нежелания отвечать взаимностью на нежные признания, и еще он понимал, что, ведя себя так по отношению к Чарльзу, совершает маленькое, но несомненное злодеяние – отвечает жестокостью на искренность. – Мне надо идти, – сказал он, нарушив молчание, воцарившееся после признания Чарльза. – Я напишу тебе завтра. – Обещаешь? – спросил Чарльз мягко, и Дэвид снова ощутил смесь раздражения и нежности. – Да, – ответил он. – Обещаю.

В следующий раз он увиделся с Чарльзом в воскресенье вечером, и когда он уходил, Чарльз спросил – как спрашивал всегда после этих встреч, – не хочет ли он остаться на ужин, не хочет ли сходить в театр или на концерт. Он всегда отказывался, осознавая, что с каждым разом вопрос, который, как он знал, Чарльз не решается задать, повисает над ними все отчетливей, превращается во что-то вроде тумана, так что любое движение еще глубже заводит их обоих в густой, непроницаемый мрак. Дэвид все так же почти все время с Чарльзом думал об Эдварде, пытаясь вообразить, что Чарльз и есть Эдвард, и, хотя он всегда был вежлив, вел себя все более отстраненно, несмотря на все большую интимность их отношений. – Подожди, – сказал Чарльз. – Не одевайся так быстро, дай мне подольше на тебя посмотреть.

Но Дэвид сказал, что его ждет дедушка, и ушел прежде, чем Чарльз снова смог о чем-то его попросить.

После каждого визита он все больше мучился тем, что так дурно обращается с бедным добрым Чарльзом, что такое поведение недостойно Бингема, дедушкиного внука, и ужасался тому, на что толкает его безумная тоска по Эдварду. Конечно, нельзя было свалить свою вину на Эдварда, независимо от причин его молчания, – ведь Дэвид сам, вместо того чтобы преодолеть свои страдания в одиночестве, позволил им задеть Чарльза.

И хотя он возвращался к Чарльзу, чтобы развеяться, их общение рождало у него неприятные вопросы, новые сомнения: когда Чарльз говорил о своих друзьях, племянниках, деловых партнерах, он вспоминал, что Эдвард даже не сообщил ему, где находится. Друзей Эдварда он знал только по именам, но не по фамилиям – Дэвид понял, что не знает даже фамилий его замужних сестер. Когда Чарльз спрашивал о нем самом, о его детстве, школьных годах, о дедушке, сестре и брате, он вспоминал, что Эдвард почти не задавал ему таких вопросов. Тогда он этого не замечал, а теперь заметил. Значит, ему это было неинтересно? Он с горечью вспомнил, как ему казалось одно время, что Эдвард ищет его одобрения и радуется, когда получает его, но теперь он понял, как ошибался и как именно Эдвард всегда был главным в их отношениях.

В следующую среду, когда Дэвид приводил в порядок класс после урока, он услышал, как кто-то позвал его по имени, и имя эхом отозвалось в коридорах. На предыдущей неделе пианино, которое до тех пор так и стояло перед доской, словно памятник Эдварду после его исчезновения, снова оказалось в своем углу, где невостребованность должна была снова вернуть его в расстроенное состояние.

Он повернулся, и в класс вплыла начальница, глядя на него с обычным неодобрением. – Идите в свои комнаты, дети, – сказала она несколькими отбившимися от остальных сиротам, потрепав их по головам, когда они подошли ее поприветствовать. Потом обратилась к Дэвиду: – Как продвигаются занятия? – Очень хорошо, спасибо. – Очень любезно с вашей стороны приходить и учить моих детей. Вы знаете, они очень к вам привязаны. – И я к ним. – Я пришла, чтобы передать вам это, – сказала начальница и достала из кармана тонкий белый конверт, который он взял у нее и едва не уронил, увидев почерк. – Да, это от мистера Бишопы, – сказала она неприязненно, выплевывая фамилию Эдварда. – Кажется, он наконец соизволил к нам вернуться.

В течение недель после исчезновения Эдварда начальница была единственным неожиданным и неохотным союзником, единственным человеком, который был так же заинтересован в том, чтобы найти Эдварда, как и он сам. Правда, ее резоны желать его возвращения были совершенно иными – когда Дэвид наконец заставил себя поговорить с нею, она поведала ему, что Эдвард выпросил отпуск, сославшись на исключительные семейные обстоятельства: он должен был вернуться к преподаванию двадцать второго февраля, но эта дата прошла, а от него так и не было ни слуху ни духу, и начальнице пришлось просто отменить уроки музыки.

(– Кажется, его мать, которая живет в Новой Англии, очень больна, – сказала начальница таким тоном, будто одна мысль о больной матери казалась ей возмутительной. – Кажется, он сирота, – возразил Дэвид после паузы. – Разве он уехал не потому, что его сестра ждет ребенка?)

Начальница помолчала, осмысливая сказанное. – Я уверена, что он говорил о матери, – ответила она наконец. – Я бы не отпустила его из-за рождения ребенка. Но с другой стороны, я могу и ошибаться, – добавила она более мягким тоном – в каждом разговоре с Дэвидом она неизменно вспоминала, что он патрон ее школы, и меняла тон в соответствии с этим положением вещей. – Богу известно, все только и делают, что рассказывают мне о своих трудностях и несчастьях дни напролет, и я просто не могу упомянуть все подробности. Как он сказал, она в Вермонте? У него, кажется, три сестры? – Да, – сказал он, преисполняясь облегчением. – Именно так.) – Когда вы это получили? – спросил он слабым голосом, мечтая, чтобы началь-

ница немедленно ушла, а он мог сесть и разорвать конверт. – Вчера, – фыркнула начальница. – Он явился сюда – какова наглость! – потребовать свой последний платеж, но я все ему высказала: какой он эгоист и как подвел детей, вот так уехав и не вернувшись вовремя. А он сказал...

Дэвид прервал ее: – Прошу прощения, но мне действительно пора идти. У меня встреча, на которую я не могу опоздать.

Начальница выпрямилась, ее самолюбие явно было задето. – Разумеется, мистер Бингем, – сказала она. – Ни в коем случае не хотела доставить вам неудобства. Увидимся на следующей неделе.

От крыльца школы его экипаж отделяли всего несколько метров, но он не мог ждать даже так недолго и вскрыл конверт прямо на ступеньках, чуть не уронив снова, так дрожали его пальцы от холода и нетерпения.

5 марта 1894 г.

Мой дорогой Дэвид,

Боже, что ты обо мне должен думать. Я пристыжен, смущен, рассыпаюсь в извинениях. Могу только сказать, что молчание мое не было добровольным и я думал о тебе каждую минуту каждого часа каждого дня. Вчера, вернувшись, я с трудом удержался, чтобы не кинуться на ступени твоего дома на Вашингтонской площади, чтобы ждать тебя там и умолять о прощении, но я не знал, какой прием меня ждет.

Не уверен я в этом и сейчас. Но если ты великодушно позволишь мне загладить свою вину, прошу тебя, приходи ко мне в пансион в любое время.

До сего момента остаюсь

Твоим любящим Эдвардом

Глава 12

У него не оставалось выбора. Он отослал экипаж домой, отдав кучеру записку для дедушки, где говорилось, что он сегодня вечером встречается с Чарльзом Гриффитом, а потом, отвернувшись и морщась от собственной лжи, дождался, когда экипаж завернет за угол, прежде чем пуститься бегом, уже не заботясь, как он выглядит со стороны. Сейчас это не имело никакого значения в сравнении с возможностью снова увидеть Эдварда.

В пансион его впустила все та же бледная горничная, и он поспешил вверх по лестнице. Только на последней лестничной площадке он заколебался, по мере того как к волнению при-
мешивались другие чувства: сомнение, неуверенность, гнев. Но ничто не могло его удержать, и не успел он постучать, как дверь открылась, и Эдвард оказался в его объятиях и стал целовать его куда попало, как радостный щенок, и Дэвид почувствовал, что все его терзания улетучиваются, сметенные счастьем и облегчением.

Но когда он смог отстраниться от Эдварда, то увидел его лицо: синяк под правым глазом, рассеченная нижняя губа с запекшейся кровью. – Эдвард, – сказал он, – мой дорогой Эдвард, что случилось? – Это – одна из причин, – ответил Эдвард почти хвастливо, – почему я не мог тебе написать.

И после того, как они оба немного успокоились, он стал объяснять, что произошло во время его злосчастливого визита к сестрам.

Вначале, сказал Эдвард, все шло хорошо. Поездка была спокойной, хоть и стоял страшный холод, и он заехал в Бостон и три дня провел у старых друзей семьи, прежде чем продолжить путь в Берлингтон. Там его ждали все три сестры: Лора, которая должна была вот-вот произвести на свет младенца, Маргарет и, конечно, Бэлль, приехавшая из Нью-Гемпшира. Лора и Маргарет, близкие по возрасту и по характеру, жили вместе в большом деревянном доме, каждая из сестер со своим мужем занимала отдельный этаж, Бэлль расположилась на этаже Лоры, а Эдвард – у Маргарет.

Маргарет по утрам уходила в свою школу, а Лора, Бэлль и Эдвард целыми днями болтали и смеялись, любясь крошечными кофточками, одеяльцами и носочками, которые связали Маргарет, Лора и их мужья, а потом вечером возвращалась Маргарет, и они усаживались у огня и говорили о родителях, вспоминали свое детство, в то время как мужья Лоры и Маргарет – муж Лоры тоже учитель, а муж Маргарет бухгалтер – выполняли всякую домашнюю работу, которую обычно делали сестры, чтобы они могли провести друг с другом побольше времени. – Конечно, я рассказал им о тебе, – сказал Эдвард. – Да? – спросил он польщенно. – И что же ты рассказал? – Я сказал, что встретил красивого, необыкновенного мужчину и уже скучаю по нему.

Дэвид почувствовал, что краснеет от удовольствия, но ответил только: – Рассказывай дальше.

Через шесть дней такого счастливого времяпрепровождения Лора родила здорового младенца, мальчика, которого она назвала Фрэнсисом, в честь их отца. Это был первый ребенок у молодого поколения Бишопов, и они все радовались ему, как своему собственному. Было решено, что Эдвард и Бэлль останутся еще на две недели, и, несмотря на усталость Лоры, все они были довольны: шестеро взрослых, воркующих над одним младенцем. Но из-за того, что они собрались все вшестером впервые за такое долгое время, они все постоянно вспоминали родителей и не раз проливали слезы, обсуждая, как мама и папа пожертвовали всем ради них, ради их лучшей жизни в Свободных Штатах и сейчас, несмотря на все невзгоды, были бы счастливы видеть своих детей всех вместе. – Мы все были так заняты, что у меня не было ни минутки ни на что, – сказал Эдвард, прежде чем Дэвид успел спросить, почему он не писал. – Я думал о тебе постоянно, я сочинял в голове сотню писем, а потом начинал плакать ребе-

нок, надо было греть молоко или зятя звали помочь по дому – я и не представлял, как много работы требует один младенец! – так что у меня буквально не было свободного времени, чтобы взяться за перо и бумагу. – Но почему ты мне хотя бы не прислал адрес своих сестер? – спросил он, ненавидя себя за дрожь в голосе. – Ну, это можно приписать только моему идиотизму – я был уверен, что дал его тебе при отъезде. Представь, я думал, как странно, что ты совсем не пишешь; каждый день, когда одна из моих сестер приносила почту, я спрашивал, нет ли чего-нибудь от тебя, но писем все не было. Не могу передать, как это меня печалило: я боялся, что ты меня забыл. – Как видишь, не забыл, – пробормотал он, стараясь не выдать голосом своей горечи, и указал на унизительно толстую пачку писем, которую горничная связала бечевкой, и теперь эта нечитаная пачка лежала на сундуке в изножье кровати Эдварда. Но Эдвард, снова упреждая обиду Дэвида, обхватил его руками.

– Я отложил их в надежде увидеть тебя и объяснить все лично, – сказал он. – А потом, когда ты простишь меня – я всей душой надеялся и надеюсь, что так и будет, – мы сможем прочитать их вдвоем, и ты расскажешь мне обо всем, что чувствовал и думал, когда их писал, и получится, что мы вовсе и не расставались, а всегда были вместе.

Прошло почти две недели, и Эдвард с Бэлль отправились в путь; они прибыли в Манчестер, где Эдвард собирался провести несколько дней с сестрой, прежде чем ехать обратно в Нью-Йорк. Но когда они добрались до дома Бэлль и она, войдя в прихожую, позвала мужа, ответом им была лишь полная тишина.

Поначалу это их не беспокоило. – Наверное, он еще в лечебнице, – бодро объявила Бэлль и, указав Эдварду гостевую комнату, пошла на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Но когда Эдвард спустился обратно, он обнаружил, что Бэлль стоит посреди кухни и смотрит на стол, а потом поворачивается к нему с лицом бледнее мела. – Он ушел, – сказала она. – Что значит “ушел”? – спросил Эдвард, но, оглядевшись, понял, что кухней не пользовались уже не меньше недели: очаг был весь в холодной саже, блюда, горшки и чашки стояли сухие, припорошенные легким слоем пыли. Он выхватил записку из рук Бэлль и увидел, что это почерк его зятя, который просил прощения, сообщал, что он ее не стоит и уходит к другой. – Это Сильвия, – прошептала Бэлль. – Наша горничная. Ее тоже нет. – Она лишилась чувств, и Эдвард успел подхватить ее и отнес в спальню.

О, как невыносимы оказались последовавшие за этим дни! Бедняжка Бэлль то плакала, то замолкала, а Эдвард дал знать об их несчастье сестрам. Он помчался в лечебницу своего зятя Мейсона, но обе приписанные к нему медицинские сестры уверяли, что не знают ничего; он даже сообщил об исчезновении Мейсона полицейским, но те отвечали, что не хотят вмешиваться в семейные дела. “Но это не просто семейное дело! – вскричал Эдвард. – Этот человек бросил свою жену – мою сестру, честную и преданную женщину и супругу, улизнув, когда та заботилась о своей беременной сестре в Вермонте. Его следует разыскать и привлечь к ответу!” Полицейские сочувственно отвечали, что ничего не могут сделать, и с каждым днем Эдвард чувствовал, как в нем закипает гнев – вместе с отчаянием – при виде сестры, которая молча сидела, уставившись в потухший очаг, с волосами, небрежно забранными в пучок, ломая руки, не меняя шерстяного платья вот уже пятый день; от этого он все яснее осознавал собственное бессилие и все сильнее хотел если не вернуть своей обожаемой младшей сестре ее мужа, то по крайней мере отомстить за нее.

А потом, однажды вечером, когда он сидел в местной таверне с кружкой сидра и раздумывал о бедствии сестры, кто же вдруг вошел, как не Мейсон?

(– Он выглядел так же, как всегда, – сказал Эдвард, отвечая на вопрос Дэвида. – Я вдруг понял, что мне казалось – если я увижу его снова, он окажется каким-то преобразившимся, словно его дурной нрав и подлые поступки как-то отразятся на внешности. Но этого не случилось. Слава богу, что с ним не было этой его Сильвии, а то не знаю, что бы я сделал.)

Эдвард подходил к Мейсону, не имея никакого представления о том, во что это выльется, но, увидев, что зять его заметил, он сжал пальцы в кулак и ударил Мейсона по лицу. Мейсон, оправившись от первого потрясения, ответил тем же, но остальные посетители быстро их растащили – хотя, с некоторым удовлетворением заметил Эдвард, не раньше, чем он успел рассказать им о мерзком поступке зятя. – Манчестер – городок маленький, – сказал он. – Все всех знают, Мейсон там не единственный доктор. Его репутация никогда не восстановится, да и с чего бы – он сам очернил ее своим поступком.

Бэлль, по словам Эдварда, выслушала его рассказ с ужасом; Эдварду и самому было совестно – не за то, что он подрался с Мейсоном, а за то, что эта стычка дала ей еще один повод для мучений и стыда; но, предположил он, втайне она порадовалась. Они долго разговаривали на следующий день, после того как Бэлль умыла ему лицо и обработала разбитую губу (“Не хочу хвастаться, но я уверен, что Мейсону пришлось хуже, хотя не могу не сознаться, что, учитывая мою профессию, размахивать кулаками – не самое мудрое решение”), и постановили, что Бэлль не может оставаться ни в Манчестере – где проживают все родственники Мейсона, – ни в этом браке. Лора и Маргарет уже прислали сначала телеграмму, а потом письмо, уговаривая Бэлль приехать к ним в Вермонт: в их доме много места, а Бэлль, как Дэвид, конечно, помнит, обучалась ремеслу медицинской сестры и без труда найдет там работу. Но Бэлль опасалась обременить Лору, когда у той столько радостных забот, и, помимо того, призналась Эдварду, что хочет покоя, что ей нужно время и место обо всем подумать. Брат с сестрой решили, что Бэлль отправится с Эдвардом в Бостон, где они проведут еще несколько дней у друзей семьи, а потом Эдвард наконец возвратится в Нью-Йорк. Бэлль очень любила этих друзей, а они ее; там она могла обдумать дальнейшую жизнь на холодную голову: она, разумеется, разведется с Мейсоном, в этом сомнений нет, но станет она по-прежнему жить в Манчестере или отправится к сестрам в Вермонт – остается нерешенным. – Видишь, – заключил Эдвард, – поездка получилась совсем не такой, как я ожидал, и все мои добрые намерения разбились о бедствия, постигшие Бэлль. С моей стороны было неразумно – очень, очень неразумно – никак не давать о себе знать, но я оказался так глубоко вовлечен в страдания сестры, что забросил все остальное. Я поступил ужасно, тут нет спора – но надеюсь, что ты меня поймешь. Пожалуйста, скажи, что прощаешь меня, милый Дэвид. Пожалуйста, скажи, что прощаешь.

Готов ли он был к прощению? И да, и нет – разумеется, он сочувствовал Бэлль, но не мог отогнать эгоистичную мысль, что Эдварду ничего бы не стоило найти время и написать ему хотя бы две строчки; что Эдварду следовало так поступить, потому что, если бы он во всем признался, Дэвид мог бы ему помочь. Как – неясно, но он был бы рад предпринять хотя бы какие-то усилия.

Но конечно, говорить так – дело ребяческое и недостойное. – Конечно, – сказал он поэтому. – Бедный мой Эдвард. Конечно, я тебя прощаю. – И был вознагражден поцелуем.

Но рассказ Эдварда еще не закончился. Когда они приехали к друзьям, к Кукам, Бэлль была уже спокойнее и решительнее, и Эдвард не сомневался, что несколько дней в компании Куков укрепят ее дух. Супруги Кук – Сусанна и Обри – были чуть старше Маргарет, Сусанна тоже была беглянкой из Колоний и прежде жила в родительском доме по соседству с Бишопами; дети двух семей росли близкими друзьями. Теперь они с мужем владели небольшой текстильной фабрикой и жили в красивом новом доме возле реки.

Эдвард был рад снова повидаться с Куками – не в последнюю очередь оттого, что Сусанна и Бэлль так любили друг друга; Сусанна была ей как третья старшая сестра. Они уходили в комнату Бэлль и разговаривали там до поздней ночи, пока Эдвард и Обри играли в шахматы в гостиной. На четвертый вечер Обри и Сусанна выказали намерение обсудить с Бишопами важное дело, так что после ужина они все вчетвером переместились в гостиную и Куки объявили, что у них есть новости.

Немногим больше года назад француз, с которым они вели торговлю на протяжении многих лет, связался с ними и сделал им предложение, от которого трудно отказаться: он предлагал превратить Калифорнию в шелкопрядильную Мекку Нового Света. Этот француз, по имени Этьен Луи, уже купил участок почти в пять тысяч акров к северу от Лос-Анджелеса, высадил там почти тысячу деревьев и построил питомники, где можно содержать десятки тысяч червей и яиц. В конечном счете ферма должна стать самостоятельным поселением – Луи уже нанял первых работников, – потом там будут работать сотни семейств, занятые различными сторонами шелководства, от ухода за деревьями, кормления червей, сбора коконов до, разумеется, получения самих шелковых нитей и ткачества. Нанимать будут в основном китайцев, многие из которых остались без средств к существованию после завершения строительства трансконтинентальной железной дороги и не могут ни вернуться домой, ни – вследствие законов 92 года – вывезти с Востока своих близких. Множество из них впали в нищету, разврат, пристрастились, помимо иных дурных дел, к опиуму – Куки и Луи смогут платить им сущие гроши; власти Сан-Франциско, где живет большинство из них, даже помогали Луи отобрать тех, кто готов отправиться на юг. Предполагалось, что предприятие начнет работать ранней осенью.

Брат и сестра Бишопы почти так же загорелись этим начинанием, как сами Куки. Все четверо решили, что это блестящий замысел: население Калифорнии растет так быстро, а зарекомендовавших себя текстильных мануфактур так мало, что предприятие наверняка будет иметь успех. Все они прекрасно знали, как легко сообразительному и трудолюбивому человеку заработать огромные деньги на Западе, а Куки – целых два сообразительных и трудолюбивых человека. Они были просто обречены на успех. После такой тяжелой недели эти новости показались им особенно духоподъемными.

Но у Куков в запасе был еще один сюрприз. Они намеревались просить Бэлль и Эдварда управлять их предприятием. – Мы и так собирались вас попросить, – сказала Сусанна. – Вас обоих и Мейсона. Но так, как оно сложилось – милая Бэлль, ты же знаешь, я не имею в виду ничего дурного, – это просто воля providения. Для тебя это станет новой возможностью, новой жизнью, новым началом. – Это так благородно с вашей стороны, – сказала Бэлль, когда слегка оправилась от изумления. – Но ведь мы с Эдвардом ничего не знаем про ткачество, да и про управление мануфактурой! – Вот именно, – сказал Эдвард. – Дорогие Сусанна и Обри, мы очень польщены, но, конечно, вам нужен кто-то опытный в подобных делах.

Но Сусанна и Обри не отступали. Они наймут бригадира, и Обри лично отправится на Запад осенью, чтобы вместе с Луи проследить за первыми шагами. Когда приедут Бэлль и Эдвард, они всему потихоньку обучатся. Главное – чтобы делом управляли люди, на которых они могут положиться. Запад для них область столь неизведанная, что без деловых партнеров, которым они могут доверять, чье прошлое и настоящее знают досконально, они попросту не смогут справиться. – А кого мы лучше знаем, кому больше доверяем, чем вам? – воскликнула Сусанна. – Вы с Бэлль нам почти как брат и сестра! – А как же Луи? – Мы, конечно, ему доверяем. Но знаем его намного хуже, чем вас.

Бэлль рассмеялась. – Милый Обри, – сказала она. – Я медицинская сестра, Эдвард пианист. Мы ничего не знаем о выращивании шелкопряда, о шелковице, о текстиле, да и вообще о коммерции! Мы же вас разорим!

Так они спорили – бурно, но добросердечно, – пока в конце концов Обри и Сусанна не заставили Бишопов пообещать, что они обдумают их предложение, а потом, поскольку час был уже весьма поздний, все отправились на покой, но с улыбками и любезностями на устах, потому что хотя Бишопам замысел по-прежнему казался неосуществимым, предложение им польстило, а великодушное доверие друзей вызвало в них новый прилив благодарности.

На следующий день Эдвард должен был уезжать, но, попрощавшись с Куками, он пошел прогуляться с Бэлль, перед тем как садиться в попутный экипаж. Некоторое время сестра и брат шли под руку в молчании, останавливаясь, лишь чтобы посмотреть, как стайки уток сле-

таются к реке и, едва прикоснувшись к ледяной воде перепончатыми лапками, сразу же улетают прочь с громким, сердитым и обиженным гоготом. – Могли бы уж запомнить, – сказал Эдвард, глядя на них, и, обернувшись к сестре, спросил: – И что же ты решила? – Я точно не знаю, – сказала она. Но когда они снова подходили к дому Куков, где ждал багаж Эдварда, она добавила: – Но я считаю, что нам стоит обдумать их предложение. – Милая моя Бэлль! – Это может стать нашей новой жизнью, Эдвард, приключением. Мы еще молоды – мне всего двадцать один. И – подожди, молчи – мы не будем одиноки, мы с тобой будем вместе.

Теперь уже они спорили друг с другом, пока не спохватились, что Эдвард вот-вот пропустит свой экипаж, и они наконец нежно попрощались, а Эдвард пообещал, что обдумает предложение Куков, хотя делать этого вовсе не собирался. Но в экипаже, во время первого многочасового перегона, он осознал, что не перестает думать об этом проекте. Отчего же ему не отправиться на Запад? Отчего не попытаться сколотить состояние? Зачем отказываться от такого приключения? Бэлль права – они молоды, успех предприятия несомненен. Да даже если и нет, разве не хочется ему чего-то необыкновенного? Разве он чувствует себя дома в Нью-Йорке? Сестры далеко, он в этом городе один, жестокость климата, безденежья, беспорядка ежедневно испытывает его терпение, так что в свои двадцать три он чувствует себя намного старше от усталости, оттого, что никогда не может согреться, вечно нищенствует и по-прежнему – намного чаще, чем ему представлялось, – чувствует, что он лишь гость, дитя Колоний, что он так и не добрался до места назначения. И он снова вспомнил о своих родителях, совершивших долгое судьбоносное путешествие из одних краев в другие, – так разве не пора и ему отправиться в свое путешествие, отразив, подобно зеркалу, их опыт? Лора и Маргарет нашли себе дом в Свободных Штатах, и он рад за них. Но если он, не лукавя, заглянет себе в душу, ему придется признать, что всю свою жизнь, сколько он себя помнит, он тоже мечтал о том ощущении довольства жизнью и безопасности, которое обрели его сестры, – а ему год за годом поймать его так и не удавалось.

Проведя в этих размышлениях несколько дней, он наконец вернулся в Нью-Йорк, и город, словно чувствуя его колебание, выплеснул на него все свои самые отвратительные качества, подталкивая к верному и неизбежному выводу. Первым своим шагом на городскую землю он ступил вовсе не на мостовую, а в огромную лужу, в которую превратилась дорожная колея, и ледяная грязная жижа промочила ему брюки до середины икры. А запахи, а звуки, а картины: согбенные, как мулы, коробейники, толкающие свои деревянные кривоколесные тачки с тротуара на дорогу с глухим стуком; дети с серыми лицами и голодными глазами, выползающие из фабричных зданий, где они часами сидели, пришивая пуговицы к дурно скроенным пиджакам; лоточники, отчаянно пытающиеся продать свой жалкий товар, который может пригнаться разве что самым неимущим, тем несчастным, у которых нет даже цента, чтобы купить луковичку, сморщенную, сухую и твердую, как ракушка, или пригоршню бобов, в которой кишат сероватые личинки; попрошайки, перекупщики, карманники; все бедные, замерзшие, отчаянные орды, влачащие свою маленькую жизнь в этом невозможном, надменном, бессердечном городе, где единственными свидетелями разливу человеческих бедствий остаются разве что каменные горгульи, злобно хохочущие и издевательски разевающие пасти на высоких карнизах величественных домов, что стоят вдоль переполненных людьми улиц. И наконец, пансион, где горничная вручила ему письмо с предупреждением о выселении от невидимой Флоренс Ларссон, которую он умиротворил, заплатив вперед месячную ренту вместе с той, что оставалась неоплаченной из-за его долгого путешествия, а потом снова поднялся по лестнице, пахнущей капустой и сыростью даже летом, в свою промерзшую конуру со скудными пожитками и неприглядным видом на голые черные деревья. И вот, согревая дыханием пальцы, чтобы все-таки набраться сил, сходить за водой и приняться за утомительный труд по разжиганию огня, он принял решение: он отправится в Калифорнию. Он будет помогать Кукам в их шелкопрядильных замыслах. Он станет богатым человеком, независимым человеком. А если он снова

вернется в Нью-Йорк – хотя зачем бы, – он уже не будет чувствовать себя нищим, не будет перед всеми извиняться. Нью-Йорк не может его освободить – а Калифорнии, возможно, это удастся.

Повисло долгое молчание. – Значит, ты уезжаешь, – сказал Дэвид, хотя произнести это ему удалось лишь с трудом.

Эдвард смотрел сквозь него, пока вел свой рассказ, но тут перевел глаза на Дэвида. – Да, – сказал он. А потом: – И ты поедешь со мной. – Я? – пробормотал он изумленно. А потом: – Я! Нет, Эдвард. Нет. – Да отчего же нет? – Эдвард! Нет... я... нет. Здесь мой дом. Я не могу его бросить. – Да почему нет? – Эдвард соскользнул с кровати и встал на колени, взявши руки Дэвида обеими руками. – Дэвид, подумай – прошу тебя, подумай. Мы будем вместе. Для нас откроется новая жизнь, новая жизнь вместе, новая жизнь вместе под лучами солнца, в тепле. Дэвид. Разве ты не хочешь быть со мной? Разве ты меня не любишь? – Ты знаешь, что люблю, – признался он, чувствуя себя очень несчастным. – И я люблю тебя, – жарко произнес Эдвард, но эти слова, которых Дэвид так ждал, которые так страстно хотел услышать, оказались затуманены вихрем обстоятельств, в которых прозвучали. – Дэвид. Мы сможем быть вместе. Мы наконец сможем быть вместе.

– Мы можем быть вместе и здесь! – Дэвид, любимый, ты же знаешь, что это не так. Ты же знаешь, что твой дедушка никогда не позволит тебе быть вместе с таким человеком, как я.

На это он ничего сказать не мог, потому что понимал: это правда, – и понимал, что Эдвард это тоже понимает. – Но мы не сможем быть вместе на Западе, Эдвард! Одумайся! Там опасно быть такими, как мы, – нас могут за это посадить в тюрьму, нас могут убить. – Ничего с нами не случится! Мы же умеем вести себя осмотрительно. Дэвид, в опасность попадают те, кто кичится своей особостью, кто выставляет ее напоказ, кто напрашивается, чтобы его заметили. Мы совсем не такие – и никогда не будем такими. – Нет, мы как раз такие, Эдвард! Нет никакой разницы! Если кто-нибудь что-нибудь заподозрит, если нас уличат, последствия будут чудовищны. Скрывать, кто ты такой, – разве это свобода?

Тогда Эдвард встал и отошел от него, а когда снова обернулся, его лицо сияло нежностью, и, сев рядом с Дэвидом на кровати, он снова взял его руки в свои. – Прости меня за такой вопрос, Дэвид, – тихо сказал он, – но сейчас... ты свободен?

И когда Дэвид не смог на это ответить, он продолжил: – Дэвид, мой невинный младенец. Ты когда-нибудь думал, какова была бы твоя жизнь, если бы твое имя никому ничего не говорило? Если бы ты мог вырваться из той жизни, в которой кем-то обязан быть, и стал тем, кем хочешь? Если бы фамилия Бингем была одной из прочих, как Бишоп, или Смит, или Джонс, – а не словом, высеченным на вершине гигантского мраморного мавзолея?

Что, если бы ты был просто мистер Бингем, как я – просто мистер Бишоп? Мистер Бингем из Лос-Анджелеса – талантливый художник, милый, хороший, умный человек, муж – да, пусть тайно, но от этой тайны не менее настоящий – Эдварда Бишоп? Который живет с ним в домике посреди обширной плантации деревьев с серебристыми листьями, в краю, где нет льда, нет зимы, нет снегов? Который наконец понял, кем хочет стать? Который по прошествии времени – может быть, нескольких лет, может быть, больше, – возможно, снова переедет с мужем на Восток или приедет туда один, чтобы навестить любимого дедушку? Который будет держать меня в объятиях каждую ночь и каждое утро и будет всегда любим своим мужем, тем более любим, что муж этот будет принадлежать только ему одному? Который в любую минуту по своему желанию может быть мистером Дэвидом Бингемом с Вашингтонской площади в городе Нью-Йорке Свободных Штатов, старшим и самым обожаемым внуком Натаниэля Бингема, но может быть и чем-то меньшим – а значит, и чем-то большим; который будет принадлежать тому, кого выбрал сам, – и при этом только самому себе. Дэвид. Вдруг это ты? Может быть, на самом деле именно это – ты?

Дэвид встал, рывком высвободив руки, и подошел – для этого нужно было сделать всего один шаг – к камину, холодному, черному и пустому, в который он тем не менее уставился, как будто там плясали языки пламени.

Эдвард у него за спиной не умолк. – Ты боишься, – сказал он. – Я все понимаю. Но у тебя всегда буду я. Я, моя любовь, моя привязанность к тебе и восхищение тобой – Дэвид, у тебя всегда будет это. Так ли отлична жизнь в Калифорнии от жизни здесь? Здесь мы свободные люди, но не можем быть парой. Там мы не будем свободны как граждане, но будем парой – по-настоящему будем друг с другом; мы будем жить вместе, и никто не посмеет нас упрекнуть, нам помешать, никто не скажет, что мы не можем быть вместе в стенах собственного дома. Дэвид, скажи мне: что толку в Свободных Штатах, если мы не можем быть поистине свободны? – Ты правда меня любишь? – наконец выговорил Дэвид. – Ох, Дэвид, – сказал Эдвард, встал и обнял его, и Дэвид вдруг вспомнил ощущение массивного тела Чарльза рядом с собой и содрогнулся. – Я хочу прожить с тобой всю жизнь.

Он взглянул на Эдварда, и вот они уже срывали друг с друга одежду, а позже, лежа в изнеможении, Дэвид почувствовал, что растерянность возвращается, и сел, начал одеваться; Эдвард не спускал с него глаз. – Мне пора, – объявил он, поднимая завалившиеся под кровать перчатки. – Дэвид, – сказал Эдвард, встал, обвернувшись одеялом, перед Дэвидом и мягко повернул его лицо к себе. – Пожалуйста, подумай о моем предложении. Я еще даже Бэлль ничего не говорил – но теперь, после разговора с тобой, я сообщу ей о своем решении – хотя, конечно, мне бы хотелось написать ей, в этом письме или в следующем, – что присоединюсь к ней как женатый человек, вместе с мужем. Куки говорят, если мы готовы принять их предложение, один из нас должен приехать в мае, второй не позже чем в июне. Бэлль не о ком думать, кроме себя, – пусть будет первопроходцем, она достойна этого и будет только рада. Но, Дэвид, я уеду в июне. Уеду, что бы ни случилось. И надеюсь, Дэвид, очень надеюсь – даже не могу тебе передать, как сильно, – что мне не придется проделать этот путь в одиночестве. Пожалуйста, скажи, что подумаешь. Прошу тебя, Дэвид. Прошу тебя.

Глава 13

У Бингемов была традиция устраивать праздник на двенадцатое марта, в годовщину независимости Свободных Штатов, хотя в этот день принято было не столько праздновать, сколько предаваться воспоминаниям; это была возможность для друзей и знакомых Бингемов взглянуть на семейную коллекцию предметов и документов, связанных со становлением их страны и той значительной ролью, которую Бингемы сыграли в этом процессе.

В этом году к знаменательной дате было приурочено открытие маленького музея, основанного Натаниэлем Бингемом. Семейные бумаги и памятные вещицы составят основу коллекции – с расчетом, что остальные семьи основателей тоже отдадут туда различные предметы, письма, дневники и карты из своих архивов. Некоторые, включая семью Элизы, уже сделали это, и после открытия музея ожидался целый поток пожертвований.

В ночь открытия Дэвид стоял в своей спальне у зеркала и чистил сюртук. Конечно, он был уже неоднократно почищен Мэтью и не нуждался в дальнейшей заботе. Однако Дэвид не обращал внимания на то, что делает, движения его были бессмысленными, но успокаивающими.

Это будет его первый выход в свет с того дня, как он в последний раз видел Эдварда, почти неделю назад. После того невероятного вечера он вернулся домой, сразу отправился в кровать и не выходил следующие шесть дней. Дедушка испугался, он был уверен, что вернулась болезнь, и хотя Дэвида страшно мучила совесть из-за этого обмана, ему было куда проще сослаться на недомогание, чем пытаться объяснить овладевшее им глубокое смятение, – ведь даже если бы он нашел слова, чтобы описать свое состояние, ему пришлось бы говорить об Эдварде, о том, кто он такой и кем стал для него, а к этому разговору он был решительно не готов. Так что он лежал в своей комнате, безмолвный и недвижимый, позволяя семейному врачу мистеру Армстронгу навещать и осматривать его, заглядывать ему в рот и в глаза, мерить пульс и цокать языком от результата; горничные приносили на подносах его любимые блюда, только чтобы унести их нетронутыми через несколько часов; Адамс приносил свежие цветы (разумеется, по распоряжению дедушки) – анемоны, пионы, первоцветы, – ежедневно добываемые бог знает где по бог знает каким баснословным ценам в эти самые студеные зимние дни. И все это время, долгие-долгие часы, он смотрел на пятно, оставленное водой. Но в отличие от дней настоящей болезни, когда он не думал ни о чем, сейчас он только и делал, что думал об одном и том же: о неизбежном отъезде Эдварда, о его невероятном предложении, об их разговоре, который Дэвид не сразу осознал, но теперь возвращался к нему снова и снова: мысленно он спорил с тем пониманием свободы, которое изложил ему Эдвард, с его утверждением, будто Дэвид связан по рукам и ногам своим дедушкой, именем, а значит, и жизнью, которая не в полной мере его жизнь; он спорил с уверенностью Эдварда, что они каким-то образом избегнут наказания, полагавшегося всякому, кто нарушит тамошние законы против содомии. Эти законы существовали всегда, но после их ужесточения в семьдесят шестом году Запад, когда-то многообещающее место – настолько многообещающее, что некоторые из законодателей Свободных Штатов думали даже взять эти территории под свое управление, – стал в каком-то смысле еще опаснее, чем Колонии; в отличие от Колоний, на Западе закон не позволял расследовать незаконную деятельность такого рода, но если уж она становилась известна, последствия были жестоки и неумолимы. Даже деньги не могли вызволить обвиняемого. Единственное, чего он не мог сделать, – это поспорить с Эдвардом напрямую, потому что Эдвард не навещал его и не присылал никаких весточек, и это, несомненно, беспокоило бы Дэвида, если бы он не был так занят главной дилеммой, поставленной перед ним.

Но если Эдвард не вступал с ним ни в какое общение, то Чарльз вступал, по крайней мере пытался. С их последней встречи прошло больше недели, и письма Чарльза к нему за эти дни стали умоляющими, как будто автор уже не в силах был скрывать отчаяние – отчаяние,

которое Дэвид хорошо помнил по собственным письмам к Эдварду. Позавчера ему принесли огромный букет голубых гиацинтов с открыткой: “Мой дорогой Дэвид, мисс Холсон сказала мне, что ты нездоров, чем очень меня опечалила. Я знаю, что о тебе прекрасно заботятся, но если тебе что-нибудь нужно или чего-нибудь хочется, скажи только слово, и я немедленно буду к твоим услугам. А пока посылаю тебе свои самые добрые пожелания и неизменную преданность”, – в этих строчках Дэвид прочитал осязаемое облегчение, что его молчание объяснялось не отсутствием интереса, а всего лишь болезнью. Он посмотрел на цветы, потом на открытку и понял, что в очередной раз совершенно забыл о самом существовании Чарльза, для этого оказалось довольно нового появления Эдварда в его жизни, и вот уже все остальное померкло или стало неважным.

По большей части он все-таки размышлял об отъезде – нет, не так, он размышлял, может ли он допустить размышление об отъезде. Его страх перед Западом, перед тем, что может там случиться с ним, с ними, был неоспоримым и, он знал, оправданным. А страх покинуть дедушку, покинуть Вашингтонскую площадь? Разве это тоже не останавливает его? Он знал, что Эдвард прав: пока он остается в Нью-Йорке, он будет принадлежать дедушке, семье, городу, стране. Это тоже неоспоримо.

А вот что не было неоспоримым, это действительно ли он жаждет другой жизни. Он всегда думал, что да. Когда он отправился в свой гранд-тур, то пытался представить: каково это – быть кем-то другим? Как-то раз в Уффици он остановился в проходе, чтобы полюбоваться на коридор Вазари – его симметрия тревожила своим нечеловеческим совершенством, – и вдруг к нему шагнул стройный смуглый юноша. – С ума сойти, правда? – спросил он Дэвида, и они постояли некоторое время в молчании, и Дэвид повернулся к собеседнику.

Его звали Морган, он был из Лондона, тоже приехал в гранд-тур, сын адвоката, через несколько месяцев возвращается домой, где его, как он сказал, не ждет ничего. “Во всяком случае, ничего интересного. Место в отцовской фирме, отец настаивает; вероятно, потом женитьба на какой-нибудь девушке, которую подберет мне мать. Она настаивает”.

Они провели вместе вторую половину дня, бродя по улицам, останавливаясь, чтобы выпить кофе, съесть пирожное. До этого Дэвид во время путешествия не говорил почти ни с кем, кроме разных дедушкиных друзей, которые встречали и принимали его везде, куда он приезжал, и разговор с ровесником был для него как погружение обратно в воду, ее шелковое прикосновение к коже – вот как, оказывается, это приятно. – У тебя есть девушка там, дома? – спросил Морган, когда они проходили Санта-Кроче, и Дэвид, улыбнувшись, сказал, что нет. – Минуточку, – произнес Морган, вглядываясь в него. – Ты сказал, что ты откуда? Откуда именно в Америке? – Я не говорил, – снова улыбнулся он, понимая, что за этим последует. – И нет, я не из Америки. Я из Нью-Йорка.

Тут глаза Моргана расширились. – Ты житель Свободных Штатов! – воскликнул он. – Я столько слышал о твоей стране! Ты должен мне все рассказать.

И беседа перешла на Свободные Штаты: их теперь самые сердечные отношения с Америкой, в которых они сохраняют свои собственные законы о браке и религии, но приняли законы Союза о налогах и демократии; поддержка, финансовая и военная, Союза в Повстанческой войне; Мэн, который в основном к ним доброжелателен и где безопасность граждан Свободных Штатов более или менее обеспечена; Колонии и Запад, где они в той или иной степени в опасности; как Колонии проиграли войну, но все равно отделились и все глубже с каждым годом опускаются в бездну бедности и деградации, и их долг перед Свободными Штатами растет – и, соответственно, ненависть к ним с каждым годом разгорается жарче и ярче; постоянная борьба Свободных Штатов за то, чтобы другие страны признавали их как отдельную, независимую нацию, хотя это признание они получили только от королевств Тонга и Гавайи. Морган изучал современную историю в университете и задавал множество вопросов, и Дэвид, отвечая на них, осознал, как он любит свою нацию, как скучает по ней – чувство это стало еще более

острым, когда они отправились в убогую комнатку Моргана в запущенном пансионе. Когда поздно вечером Дэвид шел обратно в дом, в котором остановился, он снова вспомнил, как часто бывало в этой поездке, как ему повезло, что он живет в стране, где ему не приходится прятаться за закрытыми дверями, ждать сигнала, что сейчас можно идти, опасности нет, его никто не увидит; где он может идти по городу рука об руку с возлюбленным (если таковой у него когда-нибудь будет), так же как по площадям на Континенте ходят парами мужчина и женщина (но никаких других вариаций); где он в один прекрасный день сможет жениться на мужчине, которого полюбит. Он живет в стране, где все мужчины и женщины свободны и могут жить с достоинством.

Но еще одна памятная сторона этого дня заключалась в том, что он, Дэвид, в тот день не был Дэвидом Бингемом; он назвался Натаниэлем Фриром – торопливо слепив псевдоним из имен бабушки и матери, – сыном врача, который проводит год в Европе, прежде чем вернуться в Нью-Йорк и учиться на юриста. Он придумал себе полдюжины братьев и сестер, скромный веселый дом в немодной, но милой части города, жизнь благополучную, но без излишеств. Когда Морган рассказал ему о грандиозном особняке его бывшего одноклассника, где во всех уборных из кранов течет горячая вода, Дэвид ни слова не сказал о том, что в доме на Вашингтонской площади давно проведен водопровод и ему только стоит повернуть ручку крана, чтобы тут же хлынул поток чистой воды. Вместо этого он подивился везению одноклассника и удивительным новшествам современной жизни. Он не смог бы отказаться от своей страны – это ощущалось бы как измена, – но он отказался от своей биографии, и это само по себе рождало головокружительное чувство легкости, так что когда он наконец вошел в дом, где остановился – величественный палаццо, принадлежащий старому университетскому приятелю бабушки, который переехал сюда из Свободных Штатов, и его жене, хмурой итальянской графине с тяжелой походкой, на которой тот явно женился ради ее титула, – хозяин дома оглядел его с головы до ног и ухмыльнулся. – Хороший денек, а? – протянул он, глядя на мечтательное, рассеянное выражение лица Дэвида, который провел всю неделю во Флоренции, уходя рано утром и приходя поздно вечером, только чтобы избежать настойчивых рук хозяина, которые, казалось, всегда парят вблизи его тела, словно хищные птицы, готовые спланировать и схватить добычу; и Дэвид только улыбнулся и сказал: да, хороший день.

Он нечасто вспоминал этот случай, но теперь вспомнил и безуспешно пытался восстановить в памяти, что он чувствовал в момент, когда сочинял свою выдумку, понимая, что, какой бы восторг он ни испытал тогда, обман его был несерьезным. В любую минуту он мог объявить, кто он такой на самом деле, и даже Моргану наверняка оказалось бы знакомо его имя. Он один знал, что ломает комедию, но под комедией скрывалась правда, и она была надежной и солидной: его бабушка, его состояние, его имя. Если он уедет на Запад, его имя будет означать лишь порок, если вообще будет хоть что-то значить. В Свободных Штатах и на Севере имя Бингем вызывало уважение, даже почтение. Но на Западе быть Бингемом – значит быть жупелом, извращенцем, угрозой обществу. В Калифорнии он не столько сможет сменить имя, сколько ему придется это сделать, потому что оставаться Бингемом будет слишком опасно.

Даже сами эти мысли наполняли его угрызениями совести, особенно когда грезы прерывало появление бабушки, который заходил к нему утром, прежде чем отправиться в банк, и еще дважды вечером, один раз до ужина, второй – после. Этот третий визит всегда был самым долгим: бабушка сидел в кресле у постели Дэвида и без всяких предисловий начинал читать ему сегодняшние газеты или сборник стихов. Иногда он рассказывал, как провел день, его ровный, непрерывный монолог оставлял у Дэвида чувство, будто его несет поток спокойной, широкой реки. Именно так бабушка лечил все его прошлые болезни: сидел рядом с ним, читал или разговаривал, и хотя его ласковое постоянство никогда особенно не помогало – во всяком случае, Дэвид как-то слышал, что врач говорил это бабушке, – это было уравнивающее, предсказуемое и оттого утешительное средство, которое, как пятно на обоях, удерживало его

в мире. И все-таки сейчас, поскольку он не был болен, а лишь имитировал болезнь, слушая дедушку, Дэвид испытывал лишь стыд – стыд, что дедушка волнуется за него, стыд, что он допустил саму мысль покинуть дедушку, и не только его, но те права, ту безопасность, за которую дедушка и его предки так самоотверженно боролись.

Дедушка не напомнил ему о церемонии открытия музея, однако, дабы облегчить себе муки совести, в день открытия он велел приготовить ванну и отгладить костюм. Надев его, он посмотрел на себя в зеркало, увидел бледное осунувшееся лицо – но с этим ничего нельзя было сделать, – поднялся по лестнице, постучал в дверь дедушкиного кабинета – “Входите, Адамс!” – и был вознагражден дедушкиным изумлением: – Дэвид! Мой мальчик, тебе лучше? – Да, – солгал он. – И я не хочу пропустить сегодняшнее торжество. – Дэвид, не нужно идти, если ты все еще нездоров, – сказал дедушка, но Дэвид чувствовал, как дедушке хочется, чтобы он пошел, и это было самое малое, что он мог сделать для него после того, как столько дней замыслил предательство.

До особняка на Тринадцатой улице, который дедушка купил для своего музея, чуть к западу от Пятой авеню, было рукой подать, но дедушка объявил, что на улице слишком холодно и Дэвид слишком слаб, поэтому они поедут в коляске. Там их встретили Джон и Питер, Иден и Элиза, Норрис и Фрэнсис Холсон, друзья и знакомые семьи, деловые партнеры и какие-то совсем неизвестные Дэвиду люди, которых дедушка, однако, тепло приветствовал.

Директор музея, аккуратный маленький историк, еще давно нанятый семьей, рассказывал группе гостей об одном из экспонатов – это были рисунки, изображающие ферму и земельные угодья возле Шарлотсвилля, когда-то принадлежавшие Бингемам, которые Эдмунд, сын богатого землевладельца, оставил, чтобы отправиться на Север и основать Свободные Штаты; Бингемы следовали за своим патриархом, который передвигался по залу и восклицал, видя вещи, которые он помнил или не помнил: вот в витрине под стеклом кусок пергамента, превратившийся почти в лохмотья, на котором прапрадед Дэвида, Эдмунд, в 1790 году набросал протоконституцию Свободных Штатов, подписанную всеми четырнадцатью основателями, первыми утопианцами, включая прапрабабушку Элизы по материнской линии; конституция обещала свободу брака, отмену рабства и долговой кабалы, и хотя она не давала неграм полноценного гражданства, пытки и издевательства провозглашались вне закона; здесь же была Библия Эдмунда, к которой он и преподобный Самюэль Фоксли обращались в своих штудиях, когда изучали юриспруденцию в Виргинии; они вместе придумывали будущую страну, где мужчины и женщины будут свободны любить кого пожелают – эту идею Фоксли сформулировал после встречи в Лондоне с прусским теологом-вольномдумцем, который позже сможет назвать среди своих учеников и последователей Фридриха Даниэля Эрнста Шлейермахера и который подтолкнул его к интерпретации христианства с точки зрения гражданского сознания и совести; здесь же был первый набросок флага Свободных Штатов, сделанный сестрой Эдмунда, Кассандрой: прямоугольник из красной шерсти, в центре сосна, мужчина и женщина, образующие пирамиду, и восемь звезд аркой над ними, по одной на каждый штат – Пенсильвания, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Вермонт и Род-Айленд, – и девиз “Ибо Свобода это Достоинство, а Достоинство – Свобода”, вышитый под ними; здесь были проекты законов, позволяющих женщинам получать образование и, с 1799 года, – голосовать. Здесь были письма, датированные 1790 и 1791 годами, от Эдмунда к его университетскому другу, где описывалось плачевное положение будущих Свободных Штатов: леса, кишащие воинственными индейцами, бандиты и воры, предстоящая битва с местными жителями (которая была быстро выиграна, и не ружьями и кровью, а растущим благосостоянием); религиозные фанатики, которым были противны идеи Свободных Штатов, получили отступные и уехали на Юг, индейцев прогоняли на Запад целыми племенами или втихую уничтожали, очищая от них те самые леса, где они прежде свирепствовали; местные негры, которые не пытались

помогать в завоевании земли (как и негры-беженцы из Колоний), отправлялись на паромах в Канаду или в караванах на Запад.

Здесь были копии документов, доставленных лично в резиденцию президента в Филадельфии 12 марта 1791 года, объявляющих о намерении Штатов отделиться от Америки, но обещающих вместе защищаться от любых нападений, внутренних или внешних, во веки веков; здесь же был и резкий ответ президента Вашингтона, в котором он обвинял авторов письма, Фоксли и Бингема, в государственной измене, в намерении истощить свою страну, лишив ее богатств и ресурсов; здесь же были страницы и страницы переговоров, в ходе которых Вашингтон наконец неохотно соглашался с правом Свободных Штатов на существование, но только по усмотрению президента и только если Свободные Штаты поклянутся, что никогда не будут присоединять другие штаты или территории Америки и продолжат платить налоги Американскому капиталу, как если бы они были вассалами Америки.

Здесь была гравюра 1793 года, изображающая бракосочетание Эдмунда с женщиной, с которым он жил к тому времени уже три года, с тех пор, как жена умерла родами, и это был первый законный союз между мужчинами в их новой стране, а венчал их преподобный Фоксли; еще одна гравюра, сделанная на полвека позже, запечатлела свадьбу двух самых заслуженных и верных лакеев Бингемов. Здесь был рисунок, на котором Хирам принимал присягу как мэр Нью-Йорка в 1822 году (крошечный Натаниэль, тогда совсем ребенок, стоял рядом, глядя на него с обожанием); здесь была копия письма, которое Натаниэль написал президенту Линкольну, присягая на верность Союзу в начале Повстанческой войны, и рядом оригинал письма Линкольна, в котором тот благодарит его, – это письмо так знаменито, что любой ребенок в Свободных Штатах знает его наизусть, оно содержит обещание американского президента, подразумевающее их право на автономию, к нему обращаются снова и снова, чтобы обосновать право на существование Свободных Штатов перед Вашингтоном: “...и вы получите не только мою вечную благодарность, но и неотъемлемое признание вашей нации и ее единства с нашей”. Здесь же было и соглашение, составленное вскоре после этого письма между Американским конгрессом и конгрессом Свободных Штатов, в котором последний давал обязательство платить огромный налог Америке в обмен на абсолютную свободу в вопросах религии, образования и брака. Здесь была официальная декларация, позволившая Делавэру присоединиться к Свободным Штатам вскоре после окончания войны (добровольное решение, которое тем не менее снова поставило под удар само существование страны). Здесь был устав Союза аболиционистов Свободных Штатов, основанного при участии Натаниэля, который обеспечивал неграм проезд через страну и финансовую помощь, чтобы переместиться в Америку или на Север, – Свободным Штатам приходилось защищать себя от наплыва сбежавших негров; граждане, конечно, не хотели, чтобы их земля была переполнена неграми, хоть и сочувствовали их тяжелой доле.

Америка была не для всех – не для них, – и все-таки повсюду были напоминания о кропотливой неустанной работе, которая велась и до сих пор ведется, чтобы умиротворить Америку, чтобы Свободные Штаты оставались автономными и независимыми. Здесь были ранние чертежи арки, которая увенчает Вашингтонскую площадь и будет тоже воздвигнута в честь генерала Джорджа Вашингтона, – через пять лет первая арка была построена из дерева и гипса ближайшими соседями Бингемов; здесь же были и последующие чертежи арки, которую теперь предполагалось построить из сверкающего мрамора, добываемого на земле Бингемов в Вестчестере, и за которую заплатил главным образом дедушка Дэвида – ему претила мысль, что его обойдет какой-то мелкий делец, живущий с другой стороны от Пятой авеню в не слишком роскошном доме.

Все это Дэвид видел уже много раз, но все равно, как и остальные, обнаружил, что внимательно изучает каждый экспонат, как будто все это для него внове. И в самом деле, в зале царил тишина, слышалось лишь шуршание женских юбок и иногда покашливание мужчин.

Он изучал угловатый почерк Линкольна – чернила выпвели до цвета темной горчицы, – как вдруг скорее почувствовал, чем услышал чье-то присутствие за спиной, и когда распрямился и обернулся, то увидел Чарльза, чье выражение лица колебалось между удивлением и радостью, печалью и болью. – Это ты, – произнес Чарльз глухим, придушенным голосом. – Чарльз, – сказал он в ответ, не зная, как продолжить, и между ними воцарилось молчание, а потом Чарльз торопливо заговорил. – Я слышал, что ты болен, – начал он и, когда Дэвид кивнул, продолжал: – Я не хотел сваливаться тебе на голову... Фрэнсис меня пригласила... Я подумал... то есть... я не хочу ставить тебя в неловкое положение... не думай, что я хотел застать тебя врасплох. – Нет-нет, я не думал ничего такого. Я правда был болен... Но дедушке важно было, чтобы я сюда пришел, и вот, – Дэвид беспомощно махнул рукой, – я пришел. Спасибо за цветы. Очень красивые. И за открытку. – Не за что, – сказал Чарльз, но он казался таким несчастным, таким измученным, что Дэвид чуть не шагнул к нему навстречу, ожидая, что тот сейчас упадет, но Чарльз сам шагнул к нему. – Дэвид, – сказал он низким дрожащим голосом. – Я знаю, что сейчас не время и не место говорить об этом с тобой... Но я... Я хочу сказать... Ты... Почему ты не... Я ждал...

Он замолчал и замер, но Дэвид похолодел, ему казалось, что все вокруг чувствуют эту лихорадку, этот жар, исходящий от Чарльза, и все знают, что именно он причина этого страдания, источник этой боли. Даже испытывая ужас за Чарльза и за себя, он увидел, как сильно тот изменился – щеки обвисли, обычно круглое добродушное лицо пошло пятнами, блестело от пота.

Чарльз открыл было рот, чтобы снова заговорить, но тут к нему подошла Фрэнсис и дотронулась до его локтя. – Боже, что с тобой, ты сейчас упадешь в обморок! Дэвид, вели кому-нибудь принести мистеру Гриффиту воды!

Толпа расступилась перед ними, она провела Чарльза к скамейке, Норрис пошел за водой.

Но прежде чем Фрэнсис увела Чарльза, Дэвид поймал ее взгляд – в нем было неодобрение, даже почти отвращение, – и он резко повернулся, чтобы уйти, понимая, что исчезнуть надо раньше, чем Чарльз придет в себя и Фрэнсис позовет его. Пробираясь к выходу, он чуть не столкнулся с дедушкой, который смотрел за его плечо, на спину Фрэнсис. – Что там стряслось? – спросил дедушка и, прежде чем Дэвид успел ответить, добавил: – Как, это мистер Гриффит? Ему дурно?

Он начал пробираться к Чарльзу и Фрэнсис, но по пути обернулся и оглядел зал. – Дэвид? – спросил он в пустоту, глядя туда, где только что был его внук. – Дэвид? Где ты?

Но Дэвид уже ушел.

Глава 14

Открыв глаза, он на мгновение ощутил замешательство: где он? А потом вспомнил: да, конечно. Он у Иден и Элизы, в одной из их спален. После побега с открытия музея два дня назад он находился в доме сестры на Грамерси-парк. От бабушки не было ни слова – хотя Иден, прежде чем отправиться утром на свои занятия, сообщила Дэвиду, что он страшно зол, – не было ничего и от Эдварда, которому он послал короткую записку, ни от Чарльза. Он был избавлен от необходимости объясняться, по крайней мере прямо сейчас.

Он умылся, оделся, сходил в детскую навестить детей, а потом спустился вниз, в гостиную, где Элиза сидела на полу в своих брюках, а ковер был покрыт лохматыми мотками пряжи, серыми шерстяными носками, стопками хлопковых ночных рубашек. – О, Дэвид! – сказала она, поднимая голову и награждая его лучезарной улыбкой. – Иди помоги мне! – Что делаешь, дорогая Лиза? – спросил он, устраиваясь возле нее на полу. – Разбираю вещи для беженцев. Видишь, в каждую связку надо положить пару носков, две ночные рубашки, два мотка пряжи и пару спиц для вязания – они в коробке возле тебя. Перевязываешь вот так, вот бечевка и нож, – а потом складываешь вот в эту коробку, возле меня.

Он улыбнулся – возле Элизы трудно было хоть немного не воспрянуть духом, – и они вдвоем принялись за дело. Когда они проработали в молчании несколько минут, Элиза сказала: – Ты должен рассказать мне о своем мистере Гриффите.

Дэвид поморщился: – Он не мой. – Но он кажется очень милым. Во всяком случае, мне так показалось перед тем, как ему стало дурно. – Да, он очень милый. – И он стал рассказывать Элизе о Чарльзе Гриффите – о его доброте и щедрости, его трудолюбии, его практичной натуре, с неожиданными всплесками романтики, о его обстоятельности, которая никогда не переходит в педантизм, об ужасных потерях, которые на него обрушились, и о благородном стоицизме, с которым он их переносит. – Ну, по-моему, – сказала Элиза, – все это звучит просто замечательно. И кажется, он тебя любит. Но ты – ты не любишь его. – Я не знаю, – сознался он. – Мне кажется, нет. – А почему? – Потому что... – начал он и осекся, поняв, каким должен быть его ответ: потому что он не Эдвард. Потому что на ощупь, в объятиях, он не такой, как Эдвард, потому что у него нет живости Эдварда, непредсказуемости Эдварда, очарования Эдварда. В сравнении с Эдвардом надежность Чарльза кажется однообразием, обстоятельность – нерешительностью, трудолюбие – занудством. И Чарльзу, и Эдварду нужен спутник, но спутник Чарльза будет товарищем по самодовольству, по конформизму, спутник же Эдварда будет товарищем по приключениям, дерзким и храбрым. С одним Дэвид останется собой, таким, как сейчас, другой предлагает ему мечту – кем он мог бы стать. Он знает, какой будет его жизнь с Чарльзом. Чарльз станет уходить утром на работу, а Дэвид оставаться дома, и когда Чарльз вернется вечером, они тихо поужинают вместе, а потом ему придется отдать себя во власть мясистых рук Чарльза, его колючих усов, слишком пылких поцелуев и комплиментов. Иногда он будет сопровождать Чарльза на обеды с его деловыми партнерами – красивый и богатый молодой муж мистера Гриффита, – и когда Дэвид удалится, они поздравят Чарльза с прекрасным приобретением – такой милый, такой молодой и при этом Бингем, ах ты хитрец, как тебе подфартило! – и Чарльз будет покашливать, смущенный, гордый, влюбленный, и ночью захочет быть с Дэвидом снова и снова, прищипывает в его спальню, откинет одеяло, протянет свою лапу. А потом в один прекрасный день Дэвид посмотрит в зеркало и поймет, что стал Чарльзом – та же заплывшая талия, те же поредевшие волосы, – и поймет, что отдал последние годы своей молодости человеку, который заставил его постареть раньше времени.

Но с тех самых пор, как Эдвард изложил ему свой план, Дэвиду стал являться в грезах совсем другой день. Он будет приходить после работы – он будет что-нибудь делать на шелковой ферме – учитывать деревья, зарисовывать их, заботиться об их здоровье – в бунгало, где

живет вместе с Эдвардом. У них будут две спальни, каждая со своей кроватью, на случай если на них донесут или нагрянет рейд, но когда ночь опустит свой занавес над землей, они будут соединяться в одной комнате, и в этой комнате, на этой постели, они будут делать все что пожелают, бесконечно продолжая ласки, которым предавались в пансионе. Это будет жизнь полная красок, полная любви: разве не об этом мечтает каждый? Меньше чем через два года, когда ему исполнится тридцать, он получит часть своего наследства, завещанного родителями, но Эдвард ни слова не сказал о его деньгах – он говорил только о них, об их жизни вдвоем – и как, по какой причине может он сказать нет? Да, его предки боролись и трудились, чтобы основать страну, в которой он будет свободен, но разве не стремились они и к другой свободе, разве не поощряли ее – свободе меньшей и от этого большей? Свободе быть с тем, кого желаешь, свободе ставить превыше всего собственное счастье. Он был Дэвидом Бингемом, человеком, который всегда поступает по правилам, кто всегда делает разумный выбор; теперь он начнет сначала, так же как начал его прапрадед Эдмунд, его отвага будет отвагой любви.

Эти мысли вскружили ему голову, он встал и спросил Элизу, можно ли взять ее экипаж, и она разрешила, но, когда он уходил, потянула его за рукав. – Будь осторожен, – сказала она ласково, но он только коснулся губами ее щеки и поспешил вниз по лестнице на улицу, понимая, что ему необходимо произнести слова, чтобы они стали реальностью, и сделать это надо раньше, чем он снова начнет размышлять.

Только по пути он осознал, что понятия не имеет, будет ли Эдвард в пансионе, но все равно отправился туда, и когда Эдвард открыл дверь, сразу же оказался в его объятиях. – Я поеду, – услышал он свой голос, – я поеду с тобой.

О, что это была за сцена! Они оба плакали, плакали и хватали друг друга – за одежду, за волосы, так что со стороны неясно было, что это – безутешное горе или экстаз. – Я был уверен, что ты решил не ехать, после того как ты мне не ответил, – сознался Эдвард, когда они немного успокоились. – Не ответил? – Да, на письмо, которое я послал четыре дня назад, – в нем я пишу, что сказал Бэлль: я не оставил надежд убедить тебя; и прошу разрешения повторить попытку. – Я не получал такого письма! – Нет? Но я послал его, что же с ним могло произойти? – Я... ну, я, собственно, почти не был дома. Но... я объясню позже.

И снова порыв страсти овладел ими.

Только много позже, когда они лежали в своей обычной позе на маленькой твердой кровати Эдварда, Эдвард спросил: – И что сказал на все это твой дедушка? – Видишь ли, я не сказал ему. Еще. – Дэвид! Мой милый. Что он скажет?

Да, вот они: крошечные царапины на их счастье. – Он смирится, – ответил Дэвид уверенно, скорее чтобы услышать собственные слова, чем потому, что на самом деле в это верил. – Рано или поздно. Это может занять некоторое время, но он смирится. И в любом случае он не может меня остановить. В конце концов, я совершеннолетний, юридически от него не завишу. Через два года я получу часть своих денег.

Эдвард подвинулся к нему ближе:

– А он не может этому помешать? – Конечно нет – это же не его деньги, это от родителей.

Они помолчали, потом Эдвард сказал: – Ну тебе и до этого не о чем беспокоиться. Я буду получать жалованье и позабочусь о нас обоих.

И Дэвид, которому никто никогда еще не предлагал финансовой помощи, был тронут и поцеловал запрокинутое лицо Эдварда. – Я откладывал почти все карманные деньги с самого детства, – сказал он Эдварду. – У нас будут тысячи. Не надо тревожиться обо мне.

Он знал, что на самом деле это он позаботится об Эдварде. Эдвард захочет работать, потому что он активен и честолобив, но Дэвид сделает их жизнь не только дерзновенной, но и уютной. У Эдварда будет пианино, у него книги и все, к чему он привык на Вашингтонской площади: восточные ковры в розовых тонах, тонкий белый фарфор, шелковая обивка на крес-

лах. Калифорния станет их новым домом, их новой Вашингтонской площадью, и Дэвид сделает ее настолько привычной и приятной, насколько сможет.

Они лежали так весь день и вечер, и впервые Дэвиду никуда не надо было торопиться: он не должен был вздрагивать, пробуждаясь от дремы, и впадать в панику при виде темнеющего неба, судорожно одеваться и покидать манящие объятия Эдварда, чтобы запрыгнуть в экипаж и умолять кучера – “Он что, усмехается? Смеется надо мной? Как он смеет?” – гнать изо всех сил, как будто он снова школьник и опаздывает к звонку, так что двери обеденного зала окажутся закрыты и ему придется отправиться в постель без ужина. В этот день и в эту ночь они спали и просыпались, и когда в конце концов встали, чтобы сварить яйца в котелке, Эдвард не дал ему посмотреть на карманные часы. – Какая разница, который час? – сказал он. – Все время в мире – наше, правда?

И Дэвид принялся нарезать черный хлеб, который они поджарили на огне.

На следующий день они проснулись поздно и все говорили, говорили о своей новой жизни вместе: о цветах, которые Дэвид посадит в их саду, о пианино, которое купит Эдвард (“Но только когда мы сможем себе это позволить”, – сказал он рассудительно, и Дэвид рассмеялся. “Я куплю тебе пианино”, – пообещал он, испортив будущий сюрприз, но Эдвард покачал головой: “Я не хочу, чтобы ты тратил на меня деньги – они твои”), и как Дэвиду понравится Бэлль, а он ей. Потом настала пора Дэвиду идти на урок – его не было в последние две недели, и он пообещал начальнице, что проведет внеочередной урок во вторник вместо среды, и он заставил себя одеться и пойти к своим ученикам, которым велел нарисовать то, что им самим хочется, и курсировал по классу и, улыбаясь, оглядывал их наброски – кривобокие лица, глазастых собак и кошек, грубо намалеванные маргаритки и розы с острыми лепестками. А потом, когда он вернулся домой, там был только что зажженный огонь, на столе – еда, которую Эдвард купил на оставленные им деньги, и сам Эдвард, которому Дэвид стал рассказывать истории о том, как провел день, – такие истории он раньше рассказывал дедушке, и теперь он покраснел, вспомнив об этом: взрослый мужчина, у которого только и компании что дедушка! Он вспомнил тихие вечера в гостиной – и как потом он уходит к себе в кабинет, рисует в своем блокноте. Это была жизнь инвалида, но теперь он здоров – теперь он излечился.

Он отослал домой экипаж Элизы и Иден с запиской, как только приехал к Эдварду, но на третий вечер раздался стук в дверь, и Дэвид, открыв, обнаружил неряху служанку с письмом, которое Дэвид взял, вложив в ее руку монетку. – От кого это? – спросил Эдвард. – От Фрэнсис Холсон, – нахмурился Дэвид. – Она наш семейный адвокат. – Что ж, прочитай – я отвернусь к стенке и сделаю вид, что ушел в другую комнату, чтобы обеспечить тебе уединение.

16 марта

Дорогой Дэвид,

Я пишу, чтобы сообщить тревожные вести: мистер Гриффит заболел. В ночь открытия музея у него началась лихорадка, твой дедушка проследил, чтобы он благополучно добрался домой.

Я не знаю, что между вами произошло, но знаю, что он предан тебе, и если ты тот человек, которого я помню с самого детства, ты, конечно, отнесешься к нему с состраданием и навестишь его – насколько я понимаю, он считает, что между вами существует определенная договоренность. Он должен был уехать на Кейп-Код сразу после торжества, но вынужден был остаться. И не просто вынужден – он хотел остаться в надежде, что увидит тебя. Я надеюсь, что совесть и доброе сердце подскажут тебе пойти навстречу его желанию.

Не вижу необходимости посвящать в это твоего дедушку.

Искренне твоя,

Ф. Холсон

Фрэнсис, должно быть, узнала у Иден, где его искать, а та, несомненно, у кучера, этого предателя, хотя он не мог не чувствовать к Фрэнсис, семейному адвокату и поверенному, благодарности за ее деликатность – пусть она и отчитала его в письме, он знал, что она ничего не скажет дедушке, она всегда питала слабость к Дэвиду, даже когда он был совсем маленьким. Он смял листок в руке, бросил его в огонь и скользнул в кровать, отмечая вопросы Эдварда. Но позже, когда они снова лежали в объятиях друг друга, он стал думать о Чарльзе, и его охватили печаль и гнев: печаль относилась к Чарльзу, гнев к нему самому.

– Ты такой серьезный, – сказал Эдвард нежно, глядя его щеку. – Не хочешь рассказать мне?

И он наконец рассказал: о дедушкином плане, о предложении Чарльза, о самом Чарльзе, об их встречах, о том, как Чарльз влюбился в него. Его прежние фантазии о том, как они с Эдвардом будут смеяться над постельной неловкостью Чарльза, теперь заставляли его ежиться от стыда, но действительность оказалась совсем иной. Эдвард слушал внимательно и сочувственно, и Дэвида все сильнее терзала совесть: он ужасно обошелся с Чарльзом. – Бедняга, – сказал Эдвард с чувством. – Дэвид, ты должен сказать ему. Если только... если только ты сам не влюблен в него? – Конечно нет! – горячо сказал он. – Я влюблен в тебя! – Что ж, тогда ты правда должен сказать ему, Дэвид, – прошептал Эдвард, крепче прижимаясь к нему. – Дэвид, ты должен. – Я знаю, – сказал он. – Я знаю, ты прав. Мой дорогой Эдвард. Позволь мне побыть с тобой еще только сегодня, а завтра я пойду к нему.

И они решили поспать, поскольку, хотя им очень хотелось еще поговорить, они очень устали. Так что они задули свечи, и Дэвид думал, что ему не даст уснуть тревога из-за завтрашнего разговора, но уснул – стоило ему положить голову на единственную тонкую подушку Эдварда и закрыть глаза, как сон окутал его, словно одеяло, и все его заботы исчезли в тумане сновидений.

Глава 15

– Мистер Бингем, – сухо сказал Уолден. – Простите, что заставил вас ждать. Дэвид весь сжался – он всегда недолюбливал Уолдена, потому что знал этот сорт людей: прибыл из Лондона, нанят Чарльзом, несомненно, за бешеные деньги, колеблется между унижением – быть дворецким у недавно разбогатевшего человека без имени – и гордостью: он такой завидный работник, что богач отыскал его за океаном и выманил работать у себя. Как всегда бывает после соблазнения, романтика вскоре выцвела, и Уолден обнаружил, что заточен где-то на вульгарных выселках в Новом Свете и работает на человека богатого, но безвкусного. Дэвид напоминал Уолдену о том, что он мог бы устроиться и получше, мог бы найти работу у кого-нибудь пусть даже недавно разбогатевшего, но все-таки не до такой степени недавно. – Ничего страшного, Уолден, – холодно сказал Дэвид. – Я ведь не предупреждал, что явлюсь с визитом. – В самом деле. Мы давно вас не видали, мистер Бингем.

Это было дерзкое замечание, высказанное для того, чтобы его смутить, – и он смутился, но ничего не отвечал, пока Уолден не продолжил: – Боюсь, мистер Гриффит все еще слишком слаб. Он спрашивает – но если вы не захотите, он поймет, – не может ли он принять вас, не вставая с постели? – Конечно, если он не возражает. – Нет, он нисколько не возражает. Прошу вас, я думаю, вы знаете, как пройти.

Уолден держался вежливо, но Дэвид шел вслед за ним по лестнице взбешенный и краснел, вспоминая, что тот несколько раз наблюдал, как возбужденный Чарльз заводит Дэвида в спальню, приобнимая за талию, и на лице дворецкого Дэвид замечал тень насмешки, одновременно похотливой и издевательской.

У двери он прошел вперед, оставив Уолдена и его вежливый иронический поклон – “мистер Бингем” – за спиной, и ступил в комнату, где занавески были задернуты, скрывая позднее утреннее небо, а свет исходил лишь от единственной лампы возле кровати Чарльза. Вокруг валялись разбросанные бумаги, а на коленях у него громоздился маленький столик с чернильницей и пером, который он при виде Дэвида отставил в сторону. – Дэвид, – тихо сказал он. – Подойди, дай посмотреть на тебя. – Он протянул руку и зажег лампу с другой стороны кровати, и Дэвид приблизился и переставил стул поближе.

Он был удивлен, что Чарльз так плохо выглядит: лицо и губы его посерели, перерезанные морщинами мешки под глазами набухли, редкие волосы растрепались, и, видимо, это изумление выразилось у него во взгляде, потому что Чарльз коротко и криво улыбнулся и сказал: – Надо было предупредить тебя, в каком я виде. – Нет-нет, – ответил Дэвид. – Тебя видеть всегда приятно.

И от таких слов, одновременно правдивых и лживых, Чарльз, словно понимая это, поморщился.

Он боялся – а позже признался себе, что и надеялся тоже, – что Чарльз страдает от любви, от любви к нему, так что, когда тот объяснил свою слабость болезнью и кашлем, Дэвид испытал легкий и непрошенный укол разочарования вкупе с более основательным чувством облегчения. – Ничего похожего у меня не было уже много лет, – сказал Чарльз. – Но, надеюсь, худшее уже позади, хотя спускаться и подниматься по лестнице мне все еще тяжело. Боюсь, я оказался заключен по большей части в этой комнате и в кабинете, возился, – он кивнул на груды бумаг, – со счетами и конторскими книгами да писал письма.

Дэвид начал было говорить что-то сочувственное, но Чарльз прервал его жестом не то чтобы недобрым, но не терпящим возражений. – Не стоит, – сказал он. – Спасибо, но мне лучше, я уже пошел на поправку.

Наступило долгое молчание, на протяжении которого Чарльз смотрел на него, а Дэвид смотрел в пол, и заговорили они одновременно. – Прости, – сказали они друг другу, и потом,

тоже вместе, – прошу тебя, говори. – Чарльз, – начал он. – Ты замечательный человек. Мне так нравится беседовать с тобой. Я восхищаюсь не только твоей добротой, но и мудростью. Мне всегда льстил – и льстит – твой интерес и твоя привязанность. Но... я не могу стать твоим мужем. Даже по отношению к человеку грубому или эгоистичному мои поступки все равно выглядели бы недопустимыми, а по отношению к тебе они попросту отвратительны. У меня нет никаких объяснений, мне нечем себя оправдать. Я был и остаюсь решительно неправ, и стыд за причиненную тебе боль не покинет меня до конца моих дней. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, чем я, в этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь простить меня, хотя рассчитывать на такое не могу. Но я всегда буду желать тебе только самого лучшего – в этом можно не сомневаться.

Он не знал, что скажет, даже когда уже поднимался по лестнице. Какой-то сезон извинений, подумал он: Чарльз извиняется перед ним за то, что не писал; Эдвард перед ним, опять-таки что не писал; теперь он извиняется перед Чарльзом. Оставалось принести еще одно извинение – дедушке, но об этом он думать не мог, не сейчас.

Чарльз молчал, и некоторое время они сидели, окруженные отзвуками слов Дэвида, и когда Чарльз наконец заговорил, глаза его были закрыты, а голос надломленно хрипел. – Я знал, – сказал он, – я знал, каков будет твой ответ. Знал и готовился к этому целыми днями – неделями, если уж не обманывать себя. Но услышать это из твоих уст... – Он умолк. – Чарльз, – мягко произнес Дэвид. – Скажи мне... Впрочем, нет, не говори. Но, Дэвид, я понимаю, что я старше тебя, что даже на четверть не так хорош собой. И все же я многое обдумал в преддверии этого разговора, и, может быть, мы все-таки сможем быть вместе, если... если ты будешь при этом искать удовольствия с другими.

Он не сразу понял, что Чарльз имеет в виду, а когда понял, предложение его глубоко тронуло, и он вздохнул. – Чарльз, ты очень красивый, – солгал он, на что Чарльз печально улыбнулся и ничего не ответил. – И очень добрый. Но ты не захочешь жить в таком браке. – Да, – признал Чарльз, – не захочу. Но если это единственная возможность быть с тобой... – Чарльз... я так не могу.

Чарльз вздохнул и повернул голову на подушке. Он некоторое время молчал. Потом: – Ты любишь другого? – Да, – ответил он, и этот ответ ошеломил их обоих. Как будто он выкрикнул что-то ужасное, какое-то грязное ругательство, и ни один из них не знал, как реагировать. – Давно? – наконец спросил Чарльз тихим, бесцветным голосом. А потом, когда Дэвид не ответил: – До нашей близости? – И еще потом: – Кто он? – Недавно, – пробормотал Дэвид. – Нет. Никто. Человек, которого я встретил. – Он предавал Эдварда, низводя его до никого, до безымянной фигуры, но понимал, что следует побереечь чувства Чарльза, что достаточно упомянуть о существовании Эдварда, не входя в подробности.

Снова молчание, и затем Чарльз, лежавший на подушках, отвернув лицо от Дэвида, поднялся, зашуршав простынями. – Дэвид, я должен тебе кое-что сказать, иначе потом никогда себе не прощу, – начал он медленно. – Я не могу не отнестись к твоему признанию в любви к другому человеку всерьез, как бы больно мне ни было – а мне больно. Но я уже некоторое время думал, не... не боишься ли ты. Если не брака, то нужды скрывать от меня свои тайны, не это ли насторожило тебя и заставило отстраниться. Я знаю про твои приступы болезни, Дэвид. Не спрашивай, от кого, но я уже некоторое время о них знаю и хочу сказать тебе – хотя, возможно, и даже наверное, это следовало сделать раньше, – что такое знание никогда не удерживало меня от желания видеть тебя моим мужем, от желания прожить с тобой жизнь.

Он был рад, что сидит, потому что чувствовал, что сейчас упадет в обморок или что похуже, словно с него сорвали всю одежду и он оказался посреди Юнион-сквер, окруженный толпой, которая улюлюкает и указывает пальцами на его наготу, бросая склизкие листья подгнившей капусты ему в лицо, а вокруг фыркают ломовые лошади. Чарльз был прав: разбираться, кто выдал его тайну, смысла не было. Он понимал, что это не члены его семьи,

сколь бы прохладны ни были его отношения с братом и сестрой; подобные сведения почти всегда распространяют слуги, и хотя у Бингемов персонал был благонадежен – некоторые работали на семью десятилетиями, – всегда могли найтись немногие отправившиеся искать работу получше; впрочем, даже они обычно не сплетничали в своем кругу. Но хватило бы и одной горничной, которая разговорится со своей сестрой, одной посудомойки, поступившей в другое семейство, которая шепнет воздыхателю, одного кучера в другом доме, который поделится секретом со вторым камердинером, который, в свою очередь, расскажет своему воздыхателю, поваренку, который, чтобы выслужиться перед хозяином, донесет самому повару, который позже проболтается бывшему другу и вечному сопернику, дворецкому, человеку, который отвечает за гармонию домохозяйства и мелкие радости поварской жизни даже больше самого хозяина и который затем, проводив молодого хозяйского приятеля, отправившегося к себе на Вашингтонскую площадь, постучит хозяину в дверь, дождется разрешения войти и, откашлявшись, начнет: “Простите, сэр, я долго думал, стоит ли мне что-нибудь говорить, но я чувствую, что это мой нравственный долг”, – и хозяин, раздражаясь, но не удивляясь очередной драме из тех, что так дороги сердцу слуг, понимая, как им одновременно противно и сладко находиться в такой близости от самых интимных сторон жизни своих хозяев, ответит: “Так что? Выкладывайте, Уолден”, – и Уолден, склонив голову в притворном смирении, а также чтобы скрыть улыбку, которую не сумел сдержать на своих длинных тонких губах, скажет: “Дело касается молодого мистера Бингема, сэр”. – Ты мне угрожаешь? – прошептал он, справившись наконец с собой. – Угрожаю? Нет, Дэвид, конечно же нет. Как ты можешь думать такое. Я лишь хотел тебя уверить, что если ты, по понятным причинам, не можешь раздумывать о собственном прошлом без опаски, тебе нечего бояться, я со своей стороны... – Ничего не сделаешь. Ты забываешь, что я все равно Бингем. А ты кто? Ты никто и ничто. Да, у тебя есть деньги. Может быть, даже какая-то репутация в Массачусетсе. Но здесь? Никто не станет тебя даже слушать. Никто тебе в жизни не поверит.

Эта злобная тирада повисла в воздухе, и долго ни один из них не говорил ни слова. А потом, быстрым, неожиданным движением, настолько неожиданным, что Дэвид вскочил, ожидая удара, Чарльз отбросил покрывала и встал, схватившись рукой за спинку кровати, чтобы удержаться на ногах, и когда он заговорил, голос его звучал металлом – Дэвид никогда не слышал такого его голоса: – Видимо, я ошибался. Ошибался в том, что может тебя пугать. И вообще ошибался в тебе. Но теперь я сказал все, что хотел, и больше нам разговаривать нет нужды. Я желаю тебе всего хорошего, Дэвид. Поверь. Я надеюсь, что тот, кого ты любишь, любит тебя в ответ, и всегда будет любить, и вам суждена долгая совместная жизнь, и в моих летах ты не окажешься в моем положении, идиотом, что стоит в пижаме перед молодым красавцем, которому доверился всем сердцем, считал порядочным и добрым человеком и который оказался не тем и не другим, а лишь избалованным ребенком.

Он отвернулся. – Уолден тебя проводит, – сказал он, но Дэвид, с первых же его слов с ужасом осознавший, что наделал, попросту замер на месте. Прошло несколько секунд, и, поняв, что Чарльз больше не повернется к нему, он тоже развернулся, подошел к двери, не сомневаясь, что за порогом Уолден ждет, прижав ухо к деревянной поверхности, с улыбкой на устах, и уже представляет, как станет живописать эту примечательную сцену товарищам за вечерней трапезой на нижнем этаже.

Глава 16

Он вышел из дома в трансе и оторопело остановился. Мир вокруг был невероятно ярок: небо буйно-синее, птицы угнетающе голосистые, запах лошадиного навоза, даже на холоде, неприятно жгучий, стежки его лайковых перчаток такие аккуратные, миниатюрные и многочисленные, что, начни он их считать, быстро сбился бы.

Внутри у него бушевал водоворот, и чтобы этому противостоять, он закрутил другой, стал останавливать экипаж около каждого магазина, сорить деньгами, как никогда не сорил, покупая коробки с хрупкими, бледно-снежными меренгами; кашемировый шарф, черный, как Эдвардовы глаза; целый бушель апельсинов, крепких, душистых, как бутоны; банку кавьяра, где каждая икринка мерцала как жемчужина. Он тратил сумасбродные деньги и покупал только сумасбродные вещи – среди них не было такого, без чего нельзя обойтись, да и к тому же большая часть успеет испортиться и заплесневеть, прежде чем до них доберутся. Он покупал и покупал, что-то оставлял при себе, но по большей части отсылал прямо к Эдварду, поэтому, когда он наконец добрался до Бетюн-стрит, ему пришлось ждать у крыльца, пока двое развозчиков с трудом протащат цветущее кинкановое деревце через дверной проем, а еще два выйдут, унося пустой ящик из-под большого лиможского чайного сервиза с изображениями африканских зверей. Наверху Эдвард стоял в центре своей комнаты, потирая оба виска ладонями, и указывал – без особого успеха, – куда поставить деревце.

– О боже, – повторял он. – Поставьте, пожалуйста, тут – нет, может, вот тут. Хотя нет, туда тоже не надо... – И, увидев Дэвида, он вскрикнул с изумлением, облегчением и, возможно, досадой.

– Дэвид! – сказал он. – Милый мой! Что это все значит? Нет-нет, вот сюда, наверное... – Это развозчикам. – Дэвид! Родной мой, ты так поздно. Где ты был?

В ответ на это Дэвид стал опустошать карманы и бросать их содержимое на кровать: кавьяр, треугольник белого стилтона, маленькую деревянную коробочку со своим любимым засахаренным имбирем, конфеты с ромом внутри, завернутые по отдельности в обертки веселых расцветок, – все сладкое, ароматное, призванное только доставлять удовольствие, заговаривать тоску, окутывавшую его подобно облаку. Он был в таком лихорадочном состоянии, что каждая покупка оказалась размножена: не одна плитка шоколада с крыжовником, а две; не один кулек засахаренных каштанов, а три; не одно тонкое шерстяное одеяло в тон тому, которое он уже покупал Эдварду, а еще два.

Но это они со смехом обнаружили, только когда наелись до отвала, когда уже слегка пришли в себя – раздетые, но потные, несмотря на влажную прохладу комнаты, лежа на полу, потому что постель была завалена свертками, – и оба постанывали и театрально хватались за живот от всех этих только что поглощенных сахарных и жирных сливочных яств, от копченой утки и паштета. – Господи, Дэвид, – сказал Эдвард, – ты не пожалеешь об этом? – Конечно нет, – сказал он, и это была правда; он раньше никогда в жизни так не поступал. Он чувствовал, что все это было необходимо: он никогда не смог бы осознать, что его состояние принадлежит ему, если бы не повел себя так, как будто оно ему принадлежит. – В Калифорнии так жить не получится, – сонно пробормотал Эдвард, и вместо ответа Дэвид встал, нашел свои брюки, отброшенные в дальний (не очень-то дальний) угол комнаты, и запустил руку в карман. – Это что? – спросил Эдвард, принимая у него из рук маленький кожаный футляр и с усилием открывая крышечку. – Ох.

Там был маленький фарфоровый голубок, как живой, с крошечным клювом, раскрытым в песне, с яркими черными глазами. – Это для тебя, потому что ты мой птенчик, – объяснил Дэвид, – и я надеюсь, что ты останешься таким всегда.

Эдвард вынул птичку из футляра и сжал ее в ладони. – Ты делаешь мне предложение? – тихо спросил он. – Да, – сказал Дэвид, – делаю.

И Эдвард обнял его. – Конечно да, – сказал он, – конечно!

Никогда они не будут счастливы так, как в эту ночь. Все вокруг них и внутри них звенело радостью. Дэвид в особенности чувствовал, что заново родился: в течение одного дня он отказался от предложенного брака и сразу же сам сделал предложение. Он чувствовал себя необо-римым в ту ночь, каждая частица счастья в комнате находилась здесь благодаря ему. Каждая крошка сладости у них на языках, каждая мягкая подушка, на которую они укладывали головы, каждое дуновение аромата в воздухе – все это происходило по его велению. Все это устроил он. Но под этими победами, как темная отравленная река, струился его позор – немыслимые вещи, сказанные Чарльзу, а еще глубже – память о том, как он себя вел, как отвратительно поступил с Чарльзом, как использовал его из-за своего беспокойства и страха, алкая похвалы и внимания. А еще глубже таился призрак его дедушки, которого он предал, и никаких извинений не хватит, чтобы это загладить. Как только память обо всем этом вскипала в нем, он давил ее, засовывая очередную конфету в рот себе или Эдварду, или показывал Эдварду, чтобы тот перевернул его на живот.

И все же он понимал, что этого недостаточно, что он запятнал себя, что от этого пятна никогда не избавиться. Так что на следующее утро, когда маленькая горничная постучалась, выпучила глаза, увидев, что творится в комнате, и вручила ему немногословную и категоричную записку от дедушки, он понял, что его наконец разоблачили и теперь ничего не остается, кроме как вернуться на Вашингтонскую площадь, где придется и признать свой стыд, и провозгласить свою свободу.

Глава 17

Дома! Он отсутствовал чуть меньше недели, но каким странным уже казалось все это – странным и родным одновременно: аромат пчелиного воска и лилий, чай “Эрл Грей” и огонь в камине. И конечно, дедушкин запах: табак и цитрусовый одеколон. Он сказал себе, что не станет волноваться, прибыв на Вашингтонскую площадь – это его дом, это будет его дом, – и все же, поднявшись на последнюю ступеньку крыльца, он заколебался: обычно он просто входил внутрь, но сейчас чуть не постучал, и если бы дверь не распахнулась (Адамс провожал Норриса), он мог бы остаться здесь навсегда. Глаза Норриса заметно расширились при виде Дэвида, но он быстро пришел в себя, пожелал ему приятного вечера, добавил, что надеется на скорую встречу, и даже Адамс, вышколенный куда лучше ненавистного Уолдена, невольно поднял брови, прежде чем сурово сдвинуть их, словно наказывая за своеволие. – Мистер Дэвид, вы прекрасно выглядите, добро пожаловать домой. Ваш дедушка у себя в гостиной.

Он поблагодарил Адамса, отдал ему шляпу и позволил взять пальто, а потом пошел наверх. По воскресеньям ужин подавали рано, и он прибыл еще раньше, дедушка должен был только что отобедать. Побыв вдали от Вашингтонской площади, он понял, как привык отмерять время этим метрономом: полдень был не просто полуднем, а временем, когда они с дедушкой завершали воскресную дневную трапезу; пять тридцать вечера были не просто пять тридцать вечера, а время ужина. Семь утра – время, когда дедушка уходит в банк; пять вечера – время, когда он возвращается. Его часы, его дни были определены дедушкой, и все годы он бездумно подчинялся этому порядку. Даже в изгнании он будет чувствовать привычную боль этих воскресных ужинов, сможет видеть ясно, словно на картине, как брат, сестра, дедушка собираются за зеркально сверкающим обеденным столом, сможет почувствовать жирную плотность жареного перепела.

Перед дедушкиной гостиной он снова остановился и помедлил, сделал глубокий вдох, прежде чем наконец тихонько постучать в дверь, и, услышав голос дедушки, вошел. При его появлении дедушка встал, что было необычно, и они оба стояли в молчании, глядя друг на друга так, словно каждый когда-то видел другого, но забыл. – Дэвид, – сказал дедушка без выражения. – Дедушка, – сказал он.

Дедушка подошел к нему. – Дай на тебя посмотреть, – произнес он, обхватил ладонями лицо Дэвида, чуть повернул его голову в одну и другую сторону, словно тайны нынешней жизни внука были написаны на его лице, потом снова опустил руки и застыл с непроницаемым выражением. – Сядь, – сказал он, и Дэвид сел в свое обычное кресло.

Некоторое время они молчали, потом дедушка заговорил: – Я не буду начинать с того, с чего мог бы: с упреков, с вопросов, хотя не могу обещать, что удержусь от того и другого в ходе нашей беседы. Но сейчас я хочу показать тебе две вещи.

Он смотрел, как дедушка тянется к коробке, стоящей на столе, и достает оттуда пачку писем, дюжины писем, перевязанные бечевкой, и, взяв их в руки, Дэвид увидел, что на них стоит имя Эдварда, и поднял глаза в гнев. – Нет, – сказал дедушка, прежде чем он смог заговорить. – Не смей.

И Дэвид, несмотря на ярость, торопливо развязал бечеву на первой пачке, не сказав ни слова. В первом конверте оказалось первое из писем, которое он написал Эдварду, когда тот уехал, чтобы повидать сестер, и на отдельном листке – ответ Эдварда. Раскрыв второй конверт, он увидел еще одно свое письмо и ответ на него. И третье, и четвертое, и пятое – Эдвард ответил на все его письма, когда-то оставшиеся без ответа. Читая, он не мог удержаться от торжества, руки его дрожали – от романтичности этого жеста, от того, как необходимы были ему эти ответы, от жестокости, с которой их от него скрывали, от облегчения, что конверты остались невскрытыми и читает письма он один. Здесь было и то письмо, о котором Эдвард

говорил, написанное за два дня до открытия музея, когда Дэвид лежал в постели, отупевший, страдающий, и вот оно, это письмо, и еще множество других. Это ли не доказательство любви Эдварда, его преданности – в каждом слове, в каждом листке тонкой бумаги; вот почему он не получал вестей от Эдварда во время своего заточения: Эдвард писал ему все эти письма. Он внезапно увидел самого себя на постели, как он лежал, уставившись на пятно, а к западу отсюда, в пансионе – Эдварда, скрипящего пером при свечах, рука у него затекла и болит, и каждый из них не знает о мучениях другого, хотя думают они только друг о друге.

Его охватило бешенство, но дедушка снова заговорил раньше, чем он смог произнести хоть слово: – Ты не должен судить меня слишком строго, дитя, хотя я прошу прощения за то, что не отдавал тебе эти письма. Но ты был так болен, так расстроен: я не хотел, чтобы что-то еще причинило тебе боль. Это был такой необычайный поток писем – я решил, что они могут быть от... от... – Он замолчал.

– Но они были не от него, – огрызнулся Дэвид. – Теперь я это знаю, – продолжил дедушка. Лицо его было мрачным. – И это подводит меня ко второй вещи, которую ты должен прочесть. – И он снова потянулся к коробке и дал Дэвиду большой коричневый конверт, в котором находилась стопка сшитых листов, на титульном – надпись большими буквами “Конфиденциально – мистеру Натаниэлю Бингему, по его запросу”. Дэвида внезапно накрыла волна страха, и он положил листы на колени, стараясь на них не смотреть.

Но дедушка все тем же приглушенным, бесстрастным голосом сказал: – Читай. – И когда Дэвид не пошевелился: – Читай.

17 марта 1894 г.

Глубокоуважаемый мистер Бингем,

Мы завершили работу над заказанным нам отчетом о господине Эдварде Бишопе; подробности жизни рассматриваемого лица изложены ниже.

Рассматриваемое лицо родилось 2 августа 1870 года под именем Эдвард Мартинс Ноултон в Саванне, Джорджия, в семье Фрэнсиса Ноултона, школьного учителя, и Сарабет Ноултон, урожденной Мартинс. У Ноултонов был еще один ребенок, дочь Изабель (известная как Бэлль) Харриет Ноултон, родившаяся 27 января 1873 года. Мистер Ноултон был уважаемым учителем, но отличался неизлечимой и всем известной склонностью к азартной игре, отчего семья нередко оказывалась в долгах. Ноултон одалживался у многочисленных родственников – как со своей стороны, так и со стороны супруги; однако когда обнаружилось, что он расхищает средства из школьной казны, его отставили и пригрозили тюремным заключением. Тогда же выяснилось, что Ноултон задолжал намного больше, чем было известно его семейству, – он назанимал в общей сложности несколько сотен долларов, не имея никакой возможности расплатиться.

За день до привлечения к судебной ответственности Ноултон сбежал вместе с женой и обоими детьми. Соседи обнаружили, что дом остался почти нетронутым, хотя признаков спешного бегства нашлось немало: кладовку перевернули в поисках бакалейных товаров, ящики кухонных шкафов оставили открытыми. На лестнице валялся забытый детский носок. Власти немедленно начали розыск, но, по всей вероятности, Ноултон нашел приют в одном из подпольных убежищ, ссылаясь на гонения за веру.

На этом след Ноултона и его супруги теряется. Их дети, Эдвард и Бэлль, вписаны в реестр убежища во Фредерике, Мэриленд (от 4 октября 1877 года), но уже как сироты. Согласно записям убежища, ни один из них не мог и не хотел рассказывать о том, что случилось с их родителями, хотя мальчик однажды сказал, что “их увидел человек с конем, а мы спрятались”, из чего управляющий убежищем сделал вывод, что старших Ноултонов перед самой границей Мэриленда задержал колониальный патруль, а детей потом нашел и переправил к ним какой-то добрый самаритянин.

Дети пробыли в убежище два месяца, после чего, 12 декабря 1877 года, их, вместе с другими обнаруженными в окрестностях детьми, которые остались без родителей, перевели в заведение для колониальных сирот в Филадельфии. Там их почти сразу же приняла на попечение семья из Берлингтона в Вермонте – Люк и Виктория Бишоп, у которых уже было две дочери, Лора (восьми лет) и Маргарет (девяти лет), тоже колониальные сироты, удочеренные еще в младенчестве. Бишопы были богатыми и влиятельными гражданами; мистер Бишоп владел преуспевающей лесопилкой, которой управлял совместно с супругой.

Однако хорошие отношения, поначалу сложившиеся у Бишопов с их новым сыном, вскоре омрачились. Бэлль довольно быстро привыкла к новой жизни, а вот Эдвард этому сопротивлялся. Мальчик, очень располагающий, умный и обаятельный, не выказывал, как выразилась Виктория Бишоп, “истинного трудолюбия и сдержанности”. В то время как его сестры прилежно занимались хозяйственными делами и выполняли домашние задания, Эдвард постоянно стремился уклониться от каких бы то ни было обязанностей, прибегая даже к мелочному шантажу, дабы принудить Бэлль исполнять различные поручения вместо него. Несмотря на явную сообразительность, ученик он был посредственный; из школы его исключили за то, что он списывал во время экзамена по математике. Отличаясь пристрастием к сладостям, он неоднократно воровал конфеты из местной лавки. И все же, как подчеркивает приемная мать, сестры его обожали – особенно Бэлль, несмотря на то что он нередко злоупотреблял ее привязанностью. Миссис Бишоп утверждает, что Эдвард с невероятным терпением возился с животными, включая любимицу семьи, хромую собаку, и не без успеха пел, сочинял, много читал и всегда был весьма ласков. Хотя близких друзей у него почти не было – он предпочитал проводить время с Бэлль, – его все любили, круг его знакомых был широк, и от одиночества, как кажется, он никогда не страдал.

Когда Эдварду было десять лет, Бишопы купили пианино – мистер Бишоп в юности учился музыке; и хотя уроки давали всем детям, именно Эдвард проявил в этом занятии больше всего таланта и одаренности. “Музыка словно что-то в нем утишала”, – замечает миссис Бишоп, добавляя при этом, что они с мужем испытали “облегчение”, когда их сыну хоть что-то пришлось по душе. Они наняли для него учителей и радовались, что Эдвард наконец занимается чем-то с недюжинным усердием.

По мере того как Эдвард рос, Бишопам приходилось все труднее. Он оставался, как замечает мать, своего рода загадкой для них: несмотря на способности, школа наводила на него скуку, он стал пропускать занятия и снова был уличен в мелких кражах – карандашей, монет и тому подобного – у одноклассников, что приводило родителей в замешательство, ведь они никогда ни в чем ему не отказывали. После того как его исключили из трех подготовительных школ за три года, родители наняли частного преподавателя, чтобы Эдвард все-таки смог завершить образование; он не без труда сдал выпускные экзамены, после чего поступил в заштатную консерваторию в Западном Массачусетсе, где проучился лишь год, а затем, получив небольшое наследство от одного из своих дядьев, отправился в Нью-Йорк, где поселился в гарлемском доме миссис Бетесды, своей двоюродной бабки по материнской линии. Родители отнеслись к этому с одобрением: с тех пор как миссис Бетесда овдовела девять лет тому назад, она стала значительно менее крепка рассудком, и, несмотря на множество слуг в доме – она была весьма богата, – Бишопам казалось, что присутствие Эдварда ободрит старушку, она всегда его очень любила и, будучи бездетной, в сущности, считала своим сыном.

В первую осень после того, как он бросил консерваторию, Эдвард навестил свое семейство на праздник Благодарения, и они провели вместе несколько приятных дней. Когда Эдвард уехал обратно в Нью-Йорк и его сестры тоже разъехались кто куда – Лора и недавно вышедшая замуж Маргарет жили в Берлингтоне, неподалеку от родителей, а Бэлль собиралась поступать в сестринскую школу в Нью-Гемпшире, – миссис Бишоп решила прибраться в доме и обнаружила, что из спальни пропало ее любимое кольцо – крупная жемчужина на золотой цепочке, –

подаренное мужем на годовщину свадьбы. Она немедленно принялась искать драгоценность, но спустя несколько часов, проверив все возможные закутки, так и не нашла. Тогда-то она поняла, куда ожерелье могло исчезнуть – точнее, кто мог бы его исчезнуть; и, словно для того, чтобы отогнать подобную мысль, она принялась перебирать и заново складывать все мужнины носовые платки, в чем, разумеется, никакой необходимости не было, однако ей казалось, что заняться этим она обязана.

Ей было слишком страшно спрашивать Эдварда, брал ли он кольцо, и мужу сказать об этом она тоже не решалась – муж относился к их сыну гораздо менее снисходительно, чем она, и, по ее убеждению, мог сказать что-нибудь, о чем потом пожалеет. Она дала себе обет не подозревать сына ни в чем, но пришло Рождество, снова приехали дети, а потом уехали, и с ними – точнее, с одним из них – исчез, как она немного позже обнаружила, филигранный серебряный браслет, и подозрения снова охватили ее. Она не понимала, почему Эдвард просто не скажет ей, что нуждается в деньгах, – она дала бы ему денег, даже против воли мужа. Но к следующему приезду Эдварда она спрятала все, что легко отыскать, в шкатулку, а шкатулку – глубоко в недра сундука с запором, а сундук – в стенной шкаф, скрыв, таким образом, драгоценности от собственного сына.

О нынешней жизни Эдварда она почти ничего не знала. От знакомых она слышала, что он поет в ночном клубе, и это ее беспокоило – не оттого, что она тревожилась за репутацию семьи, а оттого, что сын, несмотря на весь свой ум, так молод и, как ей казалось, может подпасть под дурное влияние. Она писала ему письма, но отвечал он редко, и когда известий от него не было, она старалась не задаваться вопросом, знает ли она его вообще. По крайней мере, она знала, что он у ее тетушки, и хотя с разумением у Бетесды становилось все хуже, время от времени та все-таки писала внятные письма, в которых отзывалась о своем внучатом племяннике и его присутствии в доме с теплом и благодарностью.

А потом, тому назад два года с небольшим, ее отношения с Эдвардом пришли к концу. Она получила паническую телеграмму от поверенного тетки, который писал, что банк Бетесды известил его о снятии крупных сумм со счета. Миссис Бишоп немедленно отправилась в Нью-Йорк, где в ходе нескольких удручающих встреч ей открылось, что на протяжении целого года Эдвард списывал все более значительные суммы с трастового счета тетки; расследование, проведенное банком (спешу успокоить: это один из ваших конкурентов), выявило, что Эдвард соблазнил помощника попечителя Бетесды Кэрролл, некрасивого и легковверного юношу, который сразу же признался: он осознанно нарушил служебные правила, чтобы дать Эдварду доступ к средствам – речь шла о нескольких тысячах долларов, хотя миссис Бишоп отказалась назвать точную сумму. Придя к тетке, миссис Бишоп обнаружила, что в смысле ухода она ни в чем не нуждается, но совершенно не понимает ни где находится, ни даже кто, собственно, такой Эдвард; обнаружила она также, что некоторые мелочи – предметы серебра и фарфора, теткино бриллиантовое кольцо – пропали. Я спросил, почему она убеждена, что это сделал ее сын, а не кто-либо из многочисленных теткиных слуг и работников, и тут она заплакала и сказала, что все они служили у тетке долгие годы и ничто никогда не пропадало; единственным новым человеком в теткиной жизни, призналась она сквозь слезы, был ее сын.

Но где, собственно, был ее сын? Он как будто исчез. Миссис Бишоп разыскивала его и даже наняла частного детектива, но до срока, когда ей пришлось вернуться в Берлингтон, его так и не обнаружили.

На протяжении всего этого времени она с успехом скрывала деяния Эдварда от мужа. Однако теперь, когда они перешли границу, став преступными, ей пришлось признаться. Как она и опасалась, муж пришел в ярость, заявил, что не считает больше Эдварда своим сыном, и, призвав дочерей, рассказал им о злодеяниях их брата и запретил вступать с ним в какие бы то ни было сношения. Все три девушки плакали – брата они любили; Бэлль была особенно удручена.

Мистера Бишопа это не тронуло. Они не должны больше с ним разговаривать, а если он попытается с ними связаться, они не должны отвечать. “Мы совершили ошибку, – сказал он, по свидетельству жены, и хотя он сразу же добавил: – К тебе, Бэлль, это не относится”, – миссис Бишоп говорит: “Я взглянула ей в лицо и поняла: этого уже не исправить”.

Будь им даже позволено связаться с Эдвардом, сделать этого они бы не смогли – казалось, он бесследно исчез. Детектив, нанятый его матерью, продолжал поиски, но пришел к выводу, что он, видимо, уехал из города, вероятно, из штата или даже вообще из Свободных Штатов. На протяжении почти года о нем никто ничего не слышал. А потом, примерно полгода назад, детектив снова написал миссис Бишоп: ему посчастливилось установить местонахождение Эдварда. Тот жил в Нью-Йорке, играл на пианино в ночном клубе возле Уолл-стрит, куда любили ходить богатые молодые люди из приличного общества, и снимал комнату в пансионе на Бетюн-стрит. Эта новость ошарашила миссис Бишоп: в пансионе! Куда же делись деньги, все средства, которые он стащил у ее тетки? Неужели Эдвард – игрок, как его покойный отец? Она не замечала у него таких наклонностей, но, понимая, что далеко не все знает о сыне, и это не считала невероятным. Она велела детективу следить за передвижениями Эдварда на протяжении недели, чтобы понять, прояснят ли что-нибудь его повседневные действия, но никаких сведений раздобыть не удалось: Эдвард ни разу не заходил в банк и в игорные заведения тоже не наведывался. Перемещался он исключительно между своим обиталищем и роскошным домом возле парка Грамерси. Это оказался дом мистера Кристофера Д. (я не указываю его фамилии, чтобы уберечь приватность самого джентльмена и его семьи), родовитого джентльмена двадцати девяти лет от роду, живущего со своими пожилыми родителями, мистером и миссис Д., владельцами торгового предприятия и людьми весьма состоятельными. Детектив описал молодого мистера Д. как человека “одинокого” и “скромного”, и, похоже, Эдварду Бишопу не составило труда его соблазнить – так успешно, что мистер Д. сделал ему предложение (которое было принято) спустя всего три месяца после знакомства. Судя по всему, родители Кристофера, прознав об этом и выказывая решительное неодобрение, призвали Эдварда на встречу, на которой предложили ему работу учителя в известном им благотворительном учреждении, а также некоторое денежное вознаграждение в обмен на его обещание полностью оборвать всякую связь с их сыном и наследником. Эдвард согласился, деньги были получены, и он больше не давал о себе знать молодому мистеру Д., который, как сообщается, до нынешних пор “не находит себе места” и, по словам детектива Бишопов, не раз, все более отчаянно, пытался разыскать бывшего жениха. (Я должен с прискорбием заметить, что благотворительное учреждение, о котором шла речь, – это Благотворительная школа и приют Хирама Бингема, где до февраля Эдвард Бишоп работал учителем музыки.)

Тут мы подходим к тому, как обстоят дела с мистером Бишопом в настоящее время. По словам начальницы приюта, мистер Бишоп – которого она пренебрежительно описала словами “ломака” и “фифа”, признавая при этом, что он тем не менее пользовался невероятной любовью учеников – “К сожалению, он оказался самым популярным учителем за всю историю заведения”, – попросил в конце января, чтобы ему позволили отлучиться и провести больную мать в Берлингтоне. (Что, конечно, ложь, поскольку миссис Бишоп пребывает и всегда пребывала в полном здравии.) Эдвард в самом деле отправился на север, но и здесь его слова разошлись с истинным положением вещей. Сначала он остановился у своих бостонских приятелей – Куков, брата и сестры, которые делают вид, что они молодые супруги, по причинам, к которым я вернусь ниже. Затем он отправился в Манчестер, где в пансионе хорошей репутации жила и завершала свое сестринское образование Бэлль. Судя по всему, несмотря на отцовские увещевания, Бэлль не прерывала связи с Эдвардом после его изгнания из лона семьи и даже посылала ему часть своего ежемесячного содержания. Что происходило между братом и сестрой – не вполне ясно, но в конце февраля, не меньше чем на неделю позднее срока, когда Эдвард обещал начальнице вернуться, они отправились в Берлингтон, где, видимо, Бэлль надеялась

примиришь брата и отца. Младшая из их старших сестер, Лора, недавно стала матерью, и Бэлль, скорее всего, предполагала, что новоиспеченные бабушка с дедушкой в своем благодушном настроении смогут простить Эдварда.

Стоит ли говорить, что визит обернулся не так, как они ожидали. Увидев своего блудного сына, мистер Бишоп разъярился; последовала ожесточенная перепалка; к тому времени мистер Бишоп уже знал о том, что сын воровал у его жены драгоценности и личные вещи, в чем и обличил Эдварда. Услышав это, Эдвард внезапно бросился на мать, которая и поныне считает, что он просто был взволнован происходящим и не имел намерения причинить ей вред, однако мистер Бишоп, разъярившись, ударил сына, и тот ответным ударом повалил его на пол. Завязалась драка, все женщины пытались растащить мужчин, и в потасовке миссис Бишоп получила удар в лицо.

Неясно, Эдвард ли нанес этот случайный удар, но это уже не имело никакого значения: мистер Бишоп приказал Эдварду убираться, а Бэлль объявил, что у нее есть выбор: она может остаться в семье или уйти с братом – либо одно, либо другое. К великому изумлению Бишопов, она без единого слова отвергла воспитавшую ее семью. (Такова, со слезами сообщила мне миссис Бишоп, сила обаяния Эдварда, тех чар, которыми он умеет опутать соблазненных.)

Эдвард и Бэлль – которая теперь полностью зависела от брата – бежали. Они вернулись в Манчестер, чтобы забрать вещи (и, без сомнения, деньги) Бэлль и отправились оттуда в Бостон к Кукам. Как и Бишопы, Куки были сироты из Колоний; как и Бишопов, их взяло на воспитание богатое семейство. Вероятно, Обри Кук, брат, познакомился с Эдвардом в Нью-Йорке, когда тот жил у тети Бетесды, и завязал с ним отношения – по всем сведениям, глубоко страстные и непритворные, – продолжающиеся по сию пору. Обри был (и остается) в высшей степени представительным мужчиной лет двадцати семи, образованным, сведущим в нравах приличного общества; ничто не препятствовало их с сестрой благополучной жизни. Однако когда Обри было двадцать, а его сестре Сусанне девятнадцать, их родители погибли в дорожном происшествии, и после произведения всех расчетов оказалось, что денег, на которые дети рассчитывали, после долгих лет неудачных вложений и непосильных долгов, в сущности, не осталось вовсе.

Иной обратился бы в таких обстоятельствах к честному труду, но не таковы оказались Обри и Сусанна. Вместо этого под видом молодоженов они по отдельности стали выискивать страдающих от одиночества женатых и замужних мужчин и женщин, не разбирая пола, – очень состоятельных, нередко вступивших в брак по расчету, – и предлагать им свою дружбу и общение. Стоило тем влюбиться, Куки начинали требовать от них денег, угрожая в противном случае раскрыть все их супругам. Жертвы – все до единой – платили, опасаясь последствий и стыдясь собственной легковёрности, благодаря чему Куки собрали немалую сумму, которую, видимо, вместе с деньгами, украденными Эдвардом у тетки и выплаченными родителями несчастного мистера Д., они намеревались использовать для устройства шелководческого производства на Западе. Мои источники указывают, что Эдвард вместе с Куками строил такие планы не меньше чем на протяжении года; их замысел заключался в том, что, памятуя о законах 76-го, Эдвард фиктивно женится на Сусанне Кук, а Бэлль выйдет замуж за Обри.

В ноябре прошлого года, когда план был готов к осуществлению, почти все шелковицы уничтожила гниль. Обри и Эдвард в замешательстве постановили, что попробуют отыскать какой-то еще способ раздобыть средства. Они понимали, что разоблачение мошенничества Куков, которое поставит их перед лицом серьезных судебных неприятностей, – вопрос времени, и только. Им нужна была лишь сумма, достаточная для того, чтобы основать хозяйство и продержаться первые несколько лет.

А потом, в январе нынешнего года, Эдвард Бишоп познакомился с вашим внуком.

Глава 18

Письмо продолжалось, но дальше он читать не мог. Он и без того уже так сильно дрожал – а в комнате стояла такая тишина, – что ему был слышен сухой, громкий шелест бумаги в руках, собственные короткие, прерывистые вздохи. Ему казалось, что его огрели по голове чем-то плотным, но податливым, вроде подушки, и оставили задыхаться в полной растерянности. Он помнил, что выпустил страницу из пальцев, что встал, шатаясь, и начал было валиться вперед, что потом кто-то – дедушка, о чьем присутствии он почти забыл, – подхватил его и осторожно усадил на кушетку, вновь и вновь повторяя его имя. Он услышал – как будто издалека, – что дедушка зовет Адамса, и, придя в себя, обнаружил, что снова сидит, а дедушка протягивает прямо к его губам чашку чаю. – Тут имбирь и мед, – сказал дедушка. – Пей потихоньку. Вот, отлично. Молодец. А вот паточное печенье – удержишь? Отлично.

Он закрыл глаза и откинул голову. Вот он снова Дэвид Бингем, он слаб, дедушка за ним ухаживает, он словно бы и не читал доклад частного детектива, не узнал все заключенное в тех страницах, знать не знал никакого Эдварда. Он запутался. Это опасно. Но не мог, как ни старался, отделить одну нить рассказа от другой. Казалось, будто он пережил происходящее, а не прочитал о нем, и в то же время рассказанное как будто не имело никакого отношения ни к нему, ни к тому Эдварду, которого он знал, – а ведь это, в сущности, и есть та единственная ипостась Эдварда, которая имеет значение. Он только что узнал некую историю, которая оказалась якорем, стремительно буравящим воду на протяжении многих тысяч лье, падающим, падающим, пока его не окутает океанский песок на дне. И над всем этим витало лицо Эдварда, глаза Эдварда, Эдвард поворачивался к нему и спрашивал – “Ты любишь меня?” – и тело его взмывало над водой, как птица, а голос сносило ветром. “Ты доверяешь мне, Дэвид? – спрашивал этот голос, голос Эдварда. – Ты веришь мне?” Он вспомнил, как тело Эдварда прикасалось к его телу, как вспыхнуло радостью его лицо, когда он увидел Дэвида на пороге, как он дотронулся до кончика его носа и сказал, что через год там появятся веснушки, маленькие точки карамельного цвета, дар калифорнийского солнца.

Он открыл глаза и посмотрел прямо в суровое, благородное дедушкино лицо, в его кремнисто-серые глаза, и понял, что должен ответить, и когда ответил, его слова удивили их обоих: Дэвида – потому, что он понял, что на самом деле чувствует, дедушку – потому, что он не хотел этого признавать, но тоже понял. – Я этому всему не верю, – сказал он.

На его глазах обеспокоенное выражение на дедушкином лице сменилось изумленным. – Не веришь? Не веришь? Дэвид... я просто не знаю, что сказать. Ты понимаешь, что этот отчет составил Гуннар Уэсли, лучший частный детектив города, если не всех Свободных Штатов? – Но он ведь и раньше ошибался. Разве он не упустил пребывание мистера Гриффита на Западе? – Но, уже произнося это, он понял, что упоминать Чарльза не следовало. – Господи, Дэвид. Это мелочь. И мистер Гриффит совершенно не собирался ничего скрывать – недосмотр Уэсли был просто недосмотром и никому не причинил никакого вреда. А все сведения, которые он собрал, – все они были верны. Дэвид, Дэвид. Я не сержусь. Поверь мне. Я рассердился, когда получил этот отчет. Но не на тебя, а на этого... афериста, который тобой пользуется. Или, по крайней мере, пытался воспользоваться. Дэвид. Дитя мое. Я понимаю, что тебе нелегко такое читать. Но разве не лучше узнать об этом сейчас, пока до серьезного вреда дело не дошло, пока вашим отношениям с мистером Гриффитом не нанесено большого ущерба? Если бы он узнал, что ты связываешься с людьми подобного сорта... – Мистеру Гриффиту до этого не должно быть никакого дела, – услышал он свой голос – незнакомый голос, холодный и отрывистый. – Никакого дела?! Дэвид, он идет тебе навстречу – семимильными шагами, надо сказать. Но даже столь преданный человек, как мистер Гриффит, не сможет закрыть глаза на такое. Уж поверь мне, до этого ему было бы дело! – Ему нет и не будет до этого дела, потому что

я отверг его предложение, – сказал Дэвид и в скрытой глубине своей души ощутил твердую сердцевину ликования, ибо дедушка в немом изумлении отшатнулся, словно его ошпарили. – Отверг? Когда ты успел, Дэвид? И почему? – Недавно. И – предупреждая твой вопрос – нет, о том, чтобы передумать, не может быть речи, ни для меня, ни для него, потому что все закончилось не то чтобы мирно. А почему – на это ответ простой: я его не люблю. – Ты не... – Тут дедушка внезапно встал и отошел в дальний угол комнаты, прежде чем снова повернуться лицом к Дэвиду. – При всем моем уважении, Дэвид, не тебе об этом судить.

Он услышал собственный смех – громкий, уродливый лай. – А кому же? Тебе? Фрэнсис? Мистеру Гриффиту? Я взрослый человек. В июне мне будет двадцать девять. Только мне об этом и судить. Я люблю Эдварда Бишопа и буду с ним, и мне не важно, что скажешь ты, или Уэсли, или кто угодно еще.

Он думал, что дедушка сейчас взорвется, но тот, наоборот, затих и заговорил снова, только ухватившись обеими руками за спинку своего кресла. – Дэвид, я обещал себе, что никогда больше об этом не стану упоминать. Я дал такой обет. Но теперь я вынужден его нарушить, уже вторично за сегодняшний вечер, потому что это важно для тех обстоятельств, в которых ты очутился. Прости меня, дитя мое, – но ты уже считал себя влюбленным. А что ты ошибаешься – стало понятно позже, и самым чудовищным образом. Ты думаешь, я лгу. Ты думаешь, я не прав. Уверяю тебя, это не так. И уверяю тебя, я отдал бы все свое состояние за то, чтобы ошибиться в мистере Бишопе. И все твоё – за то, чтобы он не причинил тебе боли. Он не любит тебя, дитя мое. Он уже влюблен в другого. А любит он твои деньги, любит мысль о том, что они будут принадлежать ему. Мне больно – ведь я-то тебя люблю – говорить об этом, произносить такое вслух. Но я вынужден так поступить – я не допущу, чтобы твое сердце снова было разбито, если могу это предотвратить. Ты уже спрашивал меня, почему я хочу, чтобы ты стал мужем мистера Гриффита, и я ответил без утайки: прочитав отчет Фрэнсис, я почувствовал, что это человек, который не причинит тебе боли, которому от тебя ничего не нужно, кроме того, чтобы быть с тобой, который никогда тебя не бросит. Ты умный мальчик, Дэвид, ты тонко чувствуешь. Но в таких делах ты ведешь себя неразумно – и так было всегда, с самого детства. Я не могу ставить себе в заслугу твои дарования – но от твоих недостатков могу тебя уберечь. Я больше не в силах отослать тебя прочь – хотя если бы ты хотел, если бы для тебя это было важно, я бы с радостью так поступил. Но я могу предостеречь тебя, всеми силами, не повторять прежней ошибки.

Несмотря на уже прозвучавший дедушкин намек, он не думал, что тот станет упоминать события семилетней давности, события, которые, как ему иногда казалось, изменили его навсегда. (Хотя он и понимал, что ошибается: произошедшее словно было предопределено.) Ему шел двадцать второй год, он только что окончил колледж и, прежде чем влиться в компанию “Братья Бингеми”, записался на годичный курс в художественное училище. А потом, в начале курса, выходя из аудитории, он случайно выронил свои вещи и, наклонившись, чтобы их поднять, увидел рядом своего однокашника Эндрю, такого солнечного, такого непринужденного в своем обаянии, что Дэвид, заметив его еще в первый день занятий, больше не обращал на него взгляда, потому что ведь такому человеку никогда не придет в голову водить с ним знакомство. Вместо этого он старался подружиться с юношами своего склада – тихими, сдержанными, незаметными, и в течение последних недель сумел встретиться с некоторыми из них за чашкой чая или за обедом, где они обсуждали прочитанные книги или картины, которые надеялись скопировать, когда наберутся опыта. Вот к таким людям он относил себя – обычно это оказывались младшие братья более напористых старших детей: хорошие, но не выдающиеся ученики; симпатичные, но не красавцы; в разговоре дельные, но не зажигательные. Все они без исключения были наследниками состояний – от солидных до баснословных; все они без исключения переехали из-под родительского крова в школы-пансионы, а потом в колледжи, а потом обратно к родителям, до той поры, когда им составят партию с подходящим мужчиной

или подходящей женщиной – некоторые из них даже переженятся в своем же кругу. Их было несколько – мечтательных, чувствительных мальчиков, чьи родители снизошли до того, чтобы предоставить им год для развлечений, прежде чем они снова отправятся учиться или присоединятся к родительскому делу в качестве банкиров, грузоотправителей, торговцев, юристов. Он это понимал и принимал; он – один из них. Даже в те времена Джон был первым среди однокашников, изучавших юриспруденцию и банковское дело, – хотя ему было всего двадцать, о его браке с соучеником Питером уже было условлено; а Иден была лучшей ученицей в своей школе. На ежегодном празднестве, которое дедушка устраивал в день летнего солнцестояния, от толп их приятелей было не протолкнуться – все они орали и хохотали под пологом со свечами, который слуги накануне растягивали над всем садом.

Но Дэвид никогда не был одним из них и понимал, что таким и не станет. Как правило, его оставляли в покое: имя защищало его от нападков, но его обычно не замечали, никогда никуда не приглашали, никогда не спохватывались, что он куда-то запропастился. И поэтому, когда Эндрю в тот день впервые заговорил с ним, а потом, на протяжении следующих дней и недель, разговаривал с ним все чаще, Дэвид сам себя не узнавал. Вот он громко смеется на улице, как Иден; вот он капризно спорит и от этого кажется милым – как делал Джон в присутствии Питера. Он всегда получал удовольствие от близости, хотя стеснительность долго ему мешала, и он предпочитал ходить в публичный дом, услугами которого пользовался с шестнадцати лет, зная, что там-то его никто не отвергнет, но с Эндрю он просил желаемого, и оно ему доставалось – это новое понимание своей мужской природы и того, что значит быть светским человеком, молодым и богатым, ободряло и окрыляло его. Ага, думал он, так вот что это такое! Вот что чувствуют Джон, и Питер, и Иден, и все их однокашники с такими веселыми голосами – вот что все они чувствуют!

Его как будто охватило безумие. Он представил Эндрю – чьи родители были доктора из Коннектикута – дедушке, и когда потом дедушка, по большей части промолчавший весь ужин – ужин, за которым Эндрю проявил себя в самом ярком и лучшем свете, а Дэвид улыбался каждому его слову, недоумевая, почему дедушка молчит, – сказал, что Эндрю кажется ему “слишком деланным и бойким”, он с холодностью пренебрег его словами. А когда полгода спустя Эндрю начал отвлекаться в его присутствии, а потом перестал к нему приходить, а потом и вовсе принялся избегать, а Дэвид пустился посылать ему букеты и коробки конфет – избыточные, стыдные признания в любви, – но не получал на это никакого отклика, а потом, позже, коробки конфет стали приходить обратно с нетронутой перевязью, письма – нераспечатанными, ящики с редкими книгами – невскрытыми, он все равно отвергал любое дедушкино вмешательство, его ласковые расспросы, его попытки отвлечь внука театром, симфоническим концертом, поездкой за границу. А потом однажды он бесцельно бродил вокруг Вашингтонской площади и вдруг увидел Эндрю под руку с другим, с их однокашником – из того самого училища, которое Дэвид забросил. Он знал этого юношу в лицо, но не по имени и понимал, что он из того общества, к которому принадлежит сам Эндрю и от которого тот откололся – возможно, из чистого любопытства, – чтобы провести какое-то время с Дэвидом. Эти двое были похожи друг на друга – оживленные молодые люди, которые идут и болтают меж собой, и их лица светятся радостью, и Дэвид сам не заметил, как двинулся, потом помчался к ним, обхватил Эндрю, выплескивая из себя любовь, страдание, обиду, и Эндрю, поначалу изумившись, потом испугавшись, сперва пытался его образумить, потом оттолкнуть, а приятель его хлестал Дэвида по голове перчатками, что выглядело еще непристойнее из-за прохожих, собравшихся вокруг поглазеть и посмеяться. А потом Эндрю его с силой оттолкнул, и Дэвид рухнул на спину, и те двое умчались, а безутешный Дэвид обнаружил себя в руках Адамса, который прикрикнул на зевак, чтобы те убирались, а сам не то отнес, не то отволок его обратно в дом.

Шли дни, а он не вылезал ни из постели, ни из комнаты. Его мучили мысли об Эндрю и о собственном позоре, и если ему удавалось не думать об одном, он думал о другом. Казалось,

что если он перестанет обращать внимание на мир, мир перестанет обращать внимание на него; дни складывались в недели, а он лежал в кровати и старался не думать ни о чем – уж во всяком случае, не о себе в невообразимой бесконечности мира, и наконец, спустя много недель, мир и в самом деле сузился до границ чего-то постижимого – его постели, его комнаты, ненавязчивого внимания дедушки, который навещал его денно и нощно. Наконец, по прошествии почти трех месяцев, что-то треснуло, как будто из заключения в скорлупе кто-то – не он сам – выпустил его наружу, и он выполз, слабый, бледный и защищенный, надеялся он, от Эндрю и собственного унижения. Он тогда поклялся себе, что никогда больше не позволит себе такой страстности чувств, не станет переполняться обожанием, упиваться счастьем, – и этот обет распространил не только на людей, но и на искусство, так что когда дедушка отправил его на год в Европу под видом гранд-тура (а на самом деле, как оба отлично знали, ради того, чтобы удалить его от Эндрю, который по-прежнему жил в городе, по-прежнему был с тем своим юношей, теперь уже женихом), он легкими шагами бродил среди фресок и картин, нависавших над ним с каждого потолка и каждой стены, вглядывался в них и ничего не чувствовал.

Домой на Вашингтонскую площадь он вернулся спустя четырнадцать месяцев более спокойным, более отстраненным – и более одиноким. Его друзья, тихие мальчики, которыми он пренебрегал и которых совсем забросил, когда начал встречаться с Эндрю, обустроились в своей собственной жизни, и он видел их редко. Джон и Иден тоже стояли на ногах крепче, чем когда-либо прежде: Джон собирался вступить в брак, Иден училась в колледже. Он что-то приобрел – ощущение отстраненности, большую силу, – но что-то и утратил: он быстро уставал, искал одиночества, и первый месяц работы у “Братьев Бингемов”, куда он пошел клерком, с чего начинали в компании и его отец, и дедушка, оказался утомительным до изнурения, особенно по сравнению с опытом Джона, точно так же работавшего на побегушках бок о бок с ним, но с первых же дней показавшего ловкость в обращении с цифрами и упорное честолобие. Это дедушка первым намекнул, что Дэвид, видимо, подхватил на Континенте какую-то болезнь, неизвестную, но истощающую, и ему не помешало бы отдохнуть несколько недель, но оба понимали, что это выдумка, что он просто дает Дэвиду возможность отговориться, не признавая напрямую собственного поражения. Вымотанный Дэвид пошел на это, а потом недели превратились в месяцы, а месяцы в годы, и в банк он так и не вернулся.

Он старался как мог забыть безумие страсти, которое чувствовал рядом с Эндрю, но порой его охватывало воспоминание о том времени и о сопутствующем унижении, и тогда он снова укрывался в своей комнате и залезал в постель. Этим приступам, которые он и дедушка стали называть “недомоганием” и которые дедушка тактично объяснил Адамсу, сестре и брату как “нервическое беспокойство”, обычно предшествовали – или следовали за ними – маниакальные, безумные дни, которые он проводил в лихорадочных покупках, или занятиях живописью, или прогулках, или визитах в бордель, – все то, чем он и так в жизни занимался, но в виде преувеличенного и усиленного. Он понимал, что это все способы уйти от себя самого, но не он их выдумал – их выдумали за него, и он находился у них в плену; они заставляли его тело либо двигаться с невероятной скоростью, либо не двигаться вовсе. Спустя два года после возвращения из Европы он получил от Эндрю открытку, извещавшую о том, что они с мужем удочерили первого ребенка, и послал в ответ поздравление. Но позже, ночью, он задумался: а в чем заключалась цель этой записки? Послал ли Эндрю ее намеренно или по недосмотру? Это дружеский жест или издевка? Он отправил Эндрю письмо, расспрашивая о новостях и признаваясь, как он о нем тоскует.

А потом в нем словно прорвалась плотина, и он стал писать письмо за письмом, то обвиняя, то заклиная Эндрю, то осуждая, то моля его о чем-то. По вечерам он сидел с дедушкой в гостиной, стараясь сдерживать нетерпеливое подергивание в пальцах, глядя на шахматную доску, но видел перед собой только письменный стол с бумагой и пресс-папье, и при первой же возможности убегал, прыжками преодолевая последние ступени, и снова писал Эндрю, и вызывал

Мэтью среди ночи, чтобы тот отправил его очередное послание. Позор, которым дело в конце концов завершилось – в чем даже он сам не сомневался, – был ужасен: поверенный, ведущий семейные дела мужа Эндрю, попросил встречи с Фрэнсис Холсон и с суровым видом вытащил из портфеля стопку писем Дэвида к Эндрю – десятки писем, – из которых последние штук двадцать даже не были распечатаны, и потребовал, чтобы Дэвид оставил его клиента в покое. Фрэнсис поговорила с бабушкой, бабушка – с ним, и хотя он проявил благородство и добросердечие, страдания Дэвида были таковы, что на этот раз бабушка заключил его в комнату, где сменяющиеся горничные обязаны были следить за ним днем и ночью – ибо он опасался, что Дэвид может причинить себе вред. Дэвид понимал, что именно в ту пору он лишился остатков уважения брата и сестры, именно в ту пору стал, в сущности, инвалидом, человеком, чье обычное состояние теперь опознавалось не как здоровье, а как болезнь, и нормальность приходилось отсчитывать в просветлениях, в передышках между возвращениями к привычному безумию. Он понимал, что обременяет этим бабушку, и хотя бабушка никогда ни на что подобное не намекала, он боялся, что скоро станет ему не помехой, а обузой. Он никуда не ходил, ни с кем не знался; было ясно, что его брак может быть только договорным, потому что никого найти самостоятельно он не мог. Но он все равно отклонял все предложения Фрэнсис, с ужасом думая, какие понадобятся усилия и ухищрения, чтобы кого-нибудь заморочить и принудить к браку с ним. Постепенно предложений становилось все меньше, пока они не прекратились вовсе, и тогда, видимо, Фрэнсис и бабушка стали обсуждать мужчин другого калибра – так бы выразилась Фрэнсис: другого калибра, может быть, кого-нибудь чуть более зрелого, как Наталиэлю кажется? – и маклер связался с Чарльзом Гриффитом, представив ему досье Дэвида в качестве возможной кандидатуры.

Для него это был конец. В нынешнем году ему исполняется двадцать девять. Если Чарльз знает о его недомогании, об этом знают и другие – не стоит обманываться. С каждым годом его состояние значит все меньше, потому что мир становится богаче – пусть не сейчас, но в ближайшие десятилетия появится семейство состоятельнее Бингемов, и он, не воспользовавшись ни единой возможностью, так и будет жить на Вашингтонской площади, поседевший, покрывшийся морщинами, будет тратить свои деньги на развлечения – книги, бумагу для рисования, краски, мужчин, – как ребенок тратит свои сбережения на игрушки и сладости. Он не просто хотел поверить Эдварду, у него не было другого выхода: если он отправится в Калифорнию, он покинет родной дом и бабушку, но не останется ли в прошлом и его болезнь, его история, его унижения? История его жизни, настолько переплетенная с Нью-Йорком, что, проходя любой квартал, он вспоминал что-нибудь постыдное, связанное с этим местом? Нельзя ли все это завернуть в простыню и убрать в глубину шкафа, как зимнее пальто? Чего стоит жизнь, если в ней не будет возможности, пусть призрачной, почувствовать, что она и вправду принадлежит ему, что он волен ее создать или порушить, лепить ее как глину или разбить как фарфор?

Он вдруг осознал, что бабушка ждет его ответа. – Он любит меня, – прошептал он. – И я это знаю. – Дитя мое... – Я сделал ему предложение, – в отчаянии продолжил он. – И он его принял. И мы с ним отправляемся в Калифорнию.

На этих словах бабушка опустил в кресло и развернулся в сторону камина, а когда повернулся обратно, Дэвид с изумлением увидел, что его глаза блестят. – Дэвид, – начал он тихим голосом, – если ты соединишь свою жизнь с этим человеком, мне придется лишиться тебя наследства, ты ведь это понимаешь, правда? Я сделаю это, потому что выбора нет, потому что только так я могу тебя защитить.

Он понимал это, но все равно от таких слов пол как будто бы ушел у него из-под ног. – У меня останется родительский фонд, – сказал он наконец. – Останется. Этому я не могу воспрепятствовать – как бы мне ни хотелось. Но содержание, которое выплачиваю я, – этого больше не будет. Дом на Вашингтонской площади перестанет быть твоим домом – если только ты не пообещаешь мне никуда не отправляться с этим человеком. – Я не могу этого обещать, – сказал

он и почувствовал, что тоже вот-вот заплачет. – Дедушка... прошу тебя. Разве ты не хочешь, чтобы я был счастлив?

Дедушка сделал глубокий вдох и потом выдох. – Я хочу, Дэвид, чтобы тебе ничто не угрожало. – Он снова вздохнул. – Дэвид, дитя мое, к чему такая спешка? Почему ты не можешь подождать? Если он и правда тебя любит, он будет ждать тебя. А этот Обри? Что, если Уэсли все-таки выяснил всю правду и ты отправишься со своим Эдвардом до самой Калифорнии – которая для таких, как мы, небезопасна, позволь тебе напомнить, и может оказаться смертельно небезопасной, – а там окажется, что тебя провели, что они пара, а ты их марионетка? – Это неправда. Это не может быть правдой. Дедушка, если бы ты мог увидеть, как он относится ко мне, как он меня любит, как оберегает... – Еще бы он тебя не оберегал, Дэвид! Он нуждается в тебе! Они нуждаются в тебе – Эдвард и его любовник. Неужели ты не понимаешь?

Тогда он разозлился – эта злость давно клокотала у него в груди, но раньше он не осмеливался дать ей голоса, потому что боялся: слова, высказанные вслух, станут правдой. – Я не знал, что ты ни во что меня не ставишь, дедушка, – неужели это трудно и даже невозможно – представить, что кто-то может любить меня просто за то, что это я? Кто-то молодой, красивый, самостоятельный? Я теперь вижу, что ты никогда не считал, что я достоин кого-нибудь вроде Эдварда, – ты стыдился меня, и я это понимаю, и понимаю почему. Но разве не может быть так, что я – кто-то другой, кого ты не замечаешь, что в меня влюбились два разных человека в течение одного года? Разве не может быть, что, прекрасно меня зная, ты все-таки всегда знал меня только с одной стороны, что не видел, кем я мог бы стать из-за своей же близости ко мне? Разве не может быть, что, оберегая меня, ты в то же время сбросил меня со счетов, потерял всякую возможность увидеть меня в ином свете? Я должен уехать, дедушка, – должен. Ты говоришь, что если я уеду, я брошу свою жизнь на ветер, а мне кажется, что если я останусь – я ее похороню. Отчего же ты не можешь дать мне право распорядиться собственной жизнью? Отчего отказываешься простить меня за то, что я собираюсь сделать?

Он молил, но дедушка снова встал – не сердито, не демонстративно, а очень устало, как будто его мучает невыносимая боль. И внезапно, очень резко, он повернул голову вправо и закрыл лицо правой ладонью, и Дэвид понял, что дедушка плачет. Это было невероятное зрелище, и мгновение он даже не мог осознать ощущение мертвенной пустоты, которая стремительно окутала его.

А потом он понял. Дело было не только в дедушкиных слезах; он понимал, что этими слезами дедушка признавал: Дэвид наконец-то слушается его. И одновременно Дэвид понимал, что дедушка не отступит, и когда он покинет Вашингтонскую площадь, он покинет свой дом навсегда. Он сидел без движения, понимая, что сидит в этой гостиной, у камина, в последний раз, что идут последние минуты, пока это еще его дом. Теперь его жизнь – не здесь. Теперь его жизнь – с Эдвардом.

Глава 19

Только в конце апреля в городе просыпалось что-то нежное, и на протяжении нескольких быстролетных недель деревья покрывались облаками бело-розовых бутонов, воздух очищался от мелких песчинок, ветер дул ласково. Эдвард уже ушел, и Дэвиду тоже пора было уходить. Но он радовался тишине – хотя в пансионе никогда не бывало по-настоящему тихо, – потому что чувствовал, что перед выходом следует собраться с духом.

Он жил с Эдвардом в пансионе чуть меньше месяца. Оставив в тот вечер дедушку и Вашингтонскую площадь, он сразу же отправился сюда, но Эдварда не застал. Впрочем, маленькая горничная впустила Дэвида в его холодную и темную комнату, и Дэвид несколько минут тихо сидел, а потом встал и начал – сначала методично, потом лихорадочно – обследовать все вокруг, вытаскивая и снова складывая одежду в сундук, пролистывая каждую книгу, роаясь в бумагах, топая по половицам: не топорщится ли какая-нибудь, нет ли под ней тайника? Он нашел какие-то ответы, но сказать, отвечают ли они на его вопросы, было невозможно: небольшая гравюра с изображением хорошенькой темноволосой девушки, вложенная в “Энеиду”, – это Бэлль? Дагеротип статного мужчины с умудренной улыбкой и лихо надетой шляпой – это Обри? Перевязанный бечевкой сверток банкнот – украден у тети Бетесды или заработан в школе? Лоскут хрупкой папиросной бумаги между страниц его Библии, на котором торопливой рукой написано “Я всегда буду тебя любить”, – это кто-то из его матерей, первая или вторая? Бэлль? Бетесда? Обри? Кто-то ему неизвестный? Во втором дорожном сундуке, который он купил для Эдварда, с медными застежками и кожаными ремнями, пряталась маленькая фарфоровая птичка и несколько пустых нотных тетрадей, но чайного сервиза, который он уложил туда, прежде чем отправиться к дедушке – церемониальный жест сборов в дорогу, кирпичик нового, их общего, дома, – не было, как не было и купленного им столового серебра.

Он раздумывал, что это может означать, но тут вошел Эдвард, и Дэвид, обернувшись, увидел, какой беспорядок он устроил вокруг, как все вещи разбросаны на полу и на кровати, а Эдвард стоит перед ним с непроницаемым выражением, и после того, как из его уст вырвался первый нелепый вопрос, единственный вопрос, который пришел ему в голову, потому что он не знал, как подступиться ко всему остальному – “Где чайный сервиз, который я тебе купил?” – он заплакал, оседая на пол. Эдвард добрался до него сквозь груды одежды и книг, присел рядом, обняв его, и Дэвид повернул голову и уткнулся, всхлипывая, в его пальто. Даже когда он смог заговорить, вопросы вырывались как сполохи стаккато, один за другим, без явной логики, без порядка, но все – одинаково безотлагательные: что, Эдвард любит кого-то другого? Обри – кто он ему? Лгал ли он, рассказывая про себя, про свою семью? Зачем он на самом деле ездил в Вермонт? Он его любит? Он его любит? Он правда его любит?

Эдвард пытался отвечать на вопросы, но Дэвид перебивал, не дав ему закончить ни одно из объяснений; он все равно не воспринимал ничего из того, что Эдвард говорил. С Вашингтонской площади он принес только стопку писем Эдварда, которые тот писал в ответ на его собственные письма, и отчет Уэсли, который он наконец вытащил, все еще всхлипывая, из кармана пальто и протянул Эдварду, а тот взял листы и стал читать – сначала с любопытством, а после с гневом, и именно этот гнев и восклицания Эдварда – “Какого дьявола!” и “Что за вздор!” – странным образом утомили бурю в душе Дэвида. Дочитав, Эдвард швырнул листы через комнату в закопченный очаг и обернулся к Дэвиду. – Бедный мой Дэвид, – сказал он. – Мой невинный младенец. Что же ты обо мне подумал? – И тут лицо его помрачнело. – Я никогда не ожидал, что она так поступит со мной, – пробормотал он. – Но она это сделала – и поставила под удар отношения, которыми я дорожу больше всего на свете.

Он сказал, что все объяснит, и объяснил. Да, его родители умерли, его старшие сестры в Вермонте, младшая – в Нью-Гемпшире. Но, признал он, между ним и сестрой его матери,

Люси, которая ухаживала за его двоюродной бабушкой Бетесдой, отношения действительно испортились. Он действительно жил у Бетесды некоторое время после окончания консерватории – “Я тебе об этом не рассказывал, потому что хотел, чтобы ты считал меня самостоятельным, хотел, чтобы ты мной восхищался. Согласись, будет жестоко, если из-за упущения, вызванного моими же страхами, ты усомнишься в моей правдивости”, – но спустя несколько месяцев отправился на поиски собственного жилья. – Я очень привязан к своей двоюродной бабке и всегда ее любил. Она с моей теткой перебралась сюда вскоре после того, как мы поселились в Свободных Штатах; она была мне как бабушка. Но считать ее богатой, а уж тем более что я воровал у нее деньги – это нелепость. – Так почему Люси говорит такое о тебе? – Да кто же знает. Она женщина недоброжелательная и мелочная, замуж не выходила, детей у нее не было, друзей тоже, но живого воображения ей, как видишь, не занимать. Мать объясняла нам всем, что к ней следует относиться по-хорошему, она угрюма лишь из-за своего вечного одиночества, и мы старались как могли. Но это уж слишком. Да и как бы то ни было, тетюшка Бетесда умерла два года назад; тетю Люси – которую и тетей-то мне назвать трудно – я с тех пор не видел; но вот доказательство, хотя и самого дурного свойства, что она по-прежнему жива и по-прежнему мстительна и готова разрушить все что угодно. – Погоди, умерла? Но ты только что сказал о Бетесде, что очень к ней привязан, как будто она жива. – Нет. Но разве это мешает привязанности? Мое отношение к ней ведь не изменилось после ее смерти. – И тебя не усыновило семейство из Свободных Штатов? – Да нет, конечно же нет! Поклеп Люси о том, что я якобы что-то воровал – выросший, насколько я могу представить, из чистой злобности вместе с завистью к моей молодости, – это чудовищно, но ее отказ от моего семейства (да и ее собственного, стоит заметить) совсем уж отвратителен. Отказываться от родителей, которые... Она просто нездорова. Хотел бы я, чтобы здесь оказалась Бэлль и сама объяснила тебе, какая это все вздорная чушь и что за нрав у моей тетюшки. – Ну так, может быть, пусть объяснит? – Конечно – это прекрасная мысль; я напишу ей сегодня же, пусть ответит на те вопросы, которые у тебя появились. – У меня их много – еще очень много. – А как может быть иначе после такого отчета? Я с огромным уважением отношусь к твоему дедушке, но должен признаться – я несколько поражен, что он так доверяет человеку, готовому повторять все, что рассказывает ему некая одинокая и, бесспорно, невинная женщина. Бедный мой Дэвид! Не могу выразить, как мне отвратительны интриги этой безумицы, причинившие тебе столько страданий. Позволь мне объясниться.

И он объяснился. У Эдварда был ответ на все тревоги Дэвида. Нет, он, разумеется, не влюблен в Обри, который, между прочим, женат на Сусанне (“Его сестра? Боже правый, конечно же нет! Что за мерзость этот отчет!”) – да и вообще не разделяет их склонности. Он близкий друг, вот и все, Дэвид сам в этом убедится в Калифорнии, и “я не удивлюсь, если вы с ним подружитесь еще крепче, чем мы; вы оба – очень практичные люди, увидишь. И тогда уже мне придется выказывать подозрительность!”. Да, связь с Кристофером Д. у него была, и да, кончилось это плохо (“В нем развилась – я не хочу хвастаться, а просто описываю, что произошло, – одержимость мною, и когда он сделал мне предложение, а я отказался, его привязанность превратилась в навязчивую идею, а я, как ни стыдно признаваться, начал его избегать, потому что не понимал, как объяснить убедительно, что я его не люблю. Он был самонадеян, но в трусости мне некого обвинять, кроме себя самого, и в этом я глубоко раскаиваюсь”), но, конечно, в этих отношениях деньги никакой роли не играли, и родители Кристофера не пытались вмешаться и что-то решить за сына. Он готов представить Дэвида мистеру Д., чтобы тот спросил у него сам. Нет-нет, он готов! Еще как готов! Скрывать ему нечего. Нет, он никогда ни у кого ничего не воровал, уж тем более у родителей, у которых, кстати, и красть-то было нечего, даже если бы он вдруг оказался таким мерзавцем. – Из всех жестокостей этого отчета ужаснее всего, что он пытается лишить меня моих корней, моего детства, всех жертв, которые принесли родители ради меня и моих сестер, возводя напраслину на моего отца: игрок? Бег-

лец? Обманщик? Да это был честнейший человек из всех, что я знал. Впутать его в такое... в такое преступление – это мерзость столь чудовищная, что даже для Люси чересчур.

Они говорили и говорили, и по прошествии часа или больше Эдвард схватил Дэвида за руки: – Дэвид – мой невинный младенец. Я могу опровергнуть все, что написано на этих страницах; я так и сделаю. Но первое, в чем мне хотелось бы уверить тебя: я люблю тебя и хочу строить жизнь с тобой не ради твоих денег. Это твои деньги, я в них не нуждаюсь. У меня денег никогда не было, я и что делать-то с ними толком не знаю. И потом, я скоро сам разживусь средствами, и – не сочти это за неблагодарность – я предпочитаю именно такое положение дел.

Ты спрашиваешь, что я сделал с чайным сервизом. Я продал его, Дэвид, и только потом уже понял, какую ошибку совершил, это был дар любви, а я, в своем намерении показать, что могу позаботиться о тебе, позаботиться о нас, променял его на деньги. Но разве ты не понимаешь, что это тоже было сделано из любви? Я не хочу просить тебя ни о чем – не хочу, чтобы тебе хоть в чем-то было неловко. Я позабочусь о нас обоих. Милый Дэвид. Разве ты не хочешь быть с человеком, для которого ты не Дэвид Бингем, а просто любимый спутник, надежный муж, дражайший супруг? Вот, – на этих словах Эдвард запустил руку в карман брюк и вытащил кошелек, который вложил Дэвиду в ладонь, – вот эти деньги. Я завтра же пойду и выкуплю сервиз, если хочешь. И его, и столовое серебро тоже. Но как бы то ни было – это твои деньги. Мы потратим их на наш первый обед в Калифорнии, на твою первую новую коробку красок. Но главное – мы потратим их вместе, строя нашу общую жизнь.

У него разболелась голова. Слишком много всего навалилось. От слез, высохших на щеках, кожа стянулась и чесалась. Руки и ноги словно размягчились, и его охватила такая усталость, что когда Эдвард принялся его раздевать и уложил в постель, он не ощущал ни привычного предвкушения, ни радости, только некую оглушенность, и хотя он отвечал на движения Эдварда, делал он это словно в тумане, как будто его конечности двигаются по собственной воле, а он им больше не хозяин. Он думал о словах бабушки: “Они нуждаются в тебе – Эдвард и его любовник”, – и, проснувшись утром, выскользнул из-под руки Эдварда, тихо оделся и ушел из пансиона.

Было так рано, что в уличных фонарях еще мерцали свечи, и все кругом было словно нарисовано оттенками серого. Он добрел, стуча каблуками по брусчатке, к реке и там стоял и смотрел, как вода бьется о деревянный причал. День наступал промозглый, промозглый и холодный, и, обхватив себя руками, он вглядывался в противоположный берег. Они с Эндрю иногда бродили вдоль реки и разговаривали, хотя теперь все это казалось бесконечно далекими воспоминаниями давно утекших десятилетий.

Что же ему делать? Здесь, на одной стороне реки – тот Эдвард, которого он знает, а там, на другой – Эдвард, которого якобы знает его бабушка, и между ними лежит водная преграда, не то чтобы широкая, но глубокая и, видимо, непреодолимая. Если он уедет с Эдвардом, он навсегда потеряет бабушку. Если останется – потеряет Эдварда. Верит ли он Эдварду? Да – и нет. Он все время возвращался в мыслях к тому, как Эдвард огорчился вчера вечером, но в то же время, напоминая себе, сохранил присутствие духа; в его разужверениях не было или почти не было противоречий, а если и были, то не очень существенные – разве это само по себе не подтверждает его правоту? Он вспоминал нежность, с которой Эдвард разужваривает с ним, прикасается к нему, обнимает его. Ведь не вообразил же он это? Ведь это не может все быть притворством? Та страсть, которую они испытывают друг к другу, лихорадочный жар их свиданий – это ведь не может быть фарсом, правда? Здесь – Нью-Йорк и все, что он знает. Там, с Эдвардом, – что-то иное, место, где он никогда не был, но он чувствовал, что стремился к нему всю жизнь. Он надеялся, что нашел его с Эндрю, но это оказался мираж. Он никогда бы не нашел его с Чарльзом. Разве не в таком смысле жизни, разве не поэтому его предки основали эту страну? Чтобы у него было право чувствовать то, что он чувствует, позволить себе быть счастливым?

Ответов он найти не мог; повернувшись, он пошел к пансиону, где ждал его Эдвард. Следующие несколько дней проходили так же: Дэвид просыпался первым и брел к реке, а потом возвращался и продолжал свои допросы, которые Эдвард сносил терпеливо и даже снисходительно. Да, девушка на гравюре – это Бэлль; нет, мужчина на дагеротипе не Обри, а старая пассия, консерваторских времен, и если Дэвида это тревожит, он – вот, смотри, на твоих глазах! – сожжет его изображение, потому что тот человек ничего для него уже не значит; да, записка от матери. Объяснения не пересыхали, и Дэвид впитывал их, пока к вечеру от пресыщения у него не начинала кружиться голова, и тогда Эдвард раздевал его и укладывал в постель, и все опять шло по кругу.

Он не мог успокоиться. – Милый мой Дэвид, если у тебя остаются сомнения, может быть, нам не стоит вступать в брак, – сказал Эдвард в один из этих дней. – Я тебя не брошу, но твоему состоянию ничто угрожать не будет.

– Так ты не хочешь на мне жениться? – Хочу! Конечно хочу. Но если так я могу убедить тебя, что у меня нет ни намерений, ни желания завладеть твоими деньгами... – Но наш брак все равно не будет признан в Калифорнии, так что это не такая уж жертва с твоей стороны, нет? – Это было бы большей жертвой, захоти я украсть твои деньги, потому что в этом случае я бы заключил брак с тобой сейчас, взял все твои деньги, а потом уже тебя бросил. Но я не этого хочу, что и пытаюсь тебе втолковать!

В следующие месяцы и годы он будет размышлять об этом времени и думать, не подводит ли его память: не было ли мгновения, часа, дня, когда он решил, окончательно и бесповоротно, что любит Эдварда, что любовь к нему преодолит любые сомнения, все еще не покидавшие его, несмотря на все разуверения Эдварда? Но нет – никакого одного мгновения, откровения, которое он мог бы датировать и доверить бумаге, не было. Просто с каждым днем, пока он не приходил на Вашингтонскую площадь, с каждым письмом – сначала только от бабушки, но потом от Элизы, и Джона, и Иден, и Фрэнсис, и даже от Норриса, – которое он игнорировал, либо бросая его в огонь, либо запихивая, не распечатав, в стопку писем Эдварда, с каждым предметом одежды, книгой, тетрадью, которую он просил прислать ему из бабушкиного дома, с каждым днем, когда он так и не посылал записку Кристоферу Д., не просил его встретиться для разговора, с каждой неделей, что он не спрашивал у Эдварда, послал ли тот все-таки письмо Бэлль, попросил ли ее подтвердить его рассказ, с каждой неделей, проходившей без вестей от нее, он заявлял свою решимость начать другую жизнь, новую жизнь, жизнь с чистого листа.

Так миновал почти месяц, и хотя Эдвард ни разу не потребовал от Дэвида твердо пообещать, что он все-таки отправится с ним в Калифорнию, Дэвид не протестовал, когда Эдвард купил два билета на трансконтинентальный экспресс, не возражал, когда его пожитки исчезли в одном из сундуков, зажатые между вещами Эдварда. Эдвард развил кипучую деятельность – он паковал, планировал, болтал, – и чем больше энергии он проявлял, тем меньше ее оставалось у Дэвида. Каждое утро он напоминал себе, что еще может остановить назначенное, казалось, самой судьбой, сейчас и навсегда, что такой шаг, каким бы унижительным он ни был, все еще в его власти; но к вечеру его опять подхватывал поток лихорадочной энергии Эдварда, и с каждым днем он дрейфовал все дальше от земли. Да и не хотел он, собственно, сопротивляться – зачем? Как приятно, как соблазнительно знать, что тебя хотят так, как его хочет Эдвард, радоваться, что тебя ласкают, целуют, шепчут нежности, считают бесценным, никогда не спрашивают о деньгах, раздевают так страстно, разглядывают с таким бесстыдным вожделением. Знал ли он раньше такое? Нет, не знал, но теперь видел, что вот это и есть счастье, вот это и есть жизнь.

И все же в более трезвые минуты – перед самым рассветом – Дэвид осознавал, что минувший месяц не был совсем безоблачным. Он так мало знал, в его жизни было так мало обязанностей, что время от времени его неведение создавало напряжение между ними: он не умел сварить яйцо, заштопать носок, забить гвоздь. В здании пансиона не было уборных, только

умывальная снаружи, и когда Дэвид посетил ее в первый раз, он, сам того не сознавая, потратил всю воду, которую следовало сберечь для остальных жильцов, и Эдвард ему за это выговорил. “А что ты вообще умеешь?” – рявкнул он, когда Дэвид признался, что никогда не разводил огонь; и “Мы, знаешь ли, не сможем жить на твое вязание и рисование и вышивание”, в ответ на что Дэвид выскочил из комнаты и потом ходил по улицам, глаза щипало от слез, а когда наконец вернулся – дул холодный ветер, идти ему все равно было некуда, – Эдвард ждал его (трещал огонь в камине) с нежностью и извинениями, чтобы уложить в постель, где обещал его быстро отогреть. Позже он спросил у Эдварда, не могут ли они переехать куда-нибудь еще, в заведение попросторнее и поновее, он с радостью заплатит, но Эдвард лишь поцеловал его в переносицу и сказал, что надо экономить и к тому же Дэвиду следует многому научиться, ведь в Калифорнии они все-таки будут жить на ферме. И он стремился к этому, но получалось у него далеко не все.

А потом вдруг осталось пять дней, четыре, три дня до отъезда – все ускорилося так, что они должны были достичь Калифорнии всего через несколько дней после прибытия Бэлль, – и крошечная комната от переполненности вещами перешла к состоянию внезапной пустоты, а все их имущество оказалось упакованным в три больших сундука, последний из которых Дэвиду доставили с Вашингтонской площади. Вечером накануне их предпоследнего дня в городе Эдвард сказал, что будет разумно заранее позаботиться о тех деньгах, которыми сможет пользоваться Дэвид; на завтра он уйдет рано, чтобы купить кое-что необходимое в дорогу, а Дэвид, хотя это осталось невысказанным, нанесет визит дедушке.

Это было вполне разумно – более того, неизбежно. И все же в то утро, выходя из пансиона – может быть, в последний раз в жизни, подумалось ему, – спускаясь по выщербленным ступеням на улицу, он почувствовал, что грубая, грязная красота города словно бьет его наотмашь; как и деревья над ним, покрывшиеся крошечными ярко-зелеными листочками; как и приятный, гулкий стук копыт лошадей на дорогах; как и трудолюбивые люди вокруг – полумойки со швабрами на парадных ступеньках, мальчик-угольщик со своей тачкой, которая медленно, дюйм за дюймом, продвигается вперед, трубочист со своим ведром, напевающий веселую песенку. Это, конечно, не те же люди, что и он, – но и те тоже; это граждане Свободных Штатов, и они вместе построили эту страну, этот город: они своим трудом, Дэвид своими деньгами.

Он думал взять кэб, но вместо этого медленно пошел пешком – сначала на юг, потом на восток, в полусне передвигаясь по улицам, где его ноги каким-то образом знали, как обойти кучу навоза, расплющенный турнепс, испуганного полудикого котенка, даже раньше, чем все это видели глаза; он чувствовал себя тонким язычком огня, бегущим по милым грязным улицам, по которым он ходил всю свою жизнь, не оставляя следов, не издавая ни единого звука, и люди расступались еще до того, как он, кашлянув, предупреждал о своем приближении. Поэтому, дойдя наконец до банка “Братьев Бингемов”, он был отдален от себя самого, почти плыл по течению, словно бы паря над городом и медленно кружась над каменным зданием, прежде чем мягко приземлиться на ступени и войти в двери, как он входил в них уже почти двадцать девять лет, – и все же, конечно, совсем не так.

Он прошел по коридору, вошел в помещение, откуда боковые двери уводили в банковские кабинеты, потом свернул налево, где нашел банкира, отвечавшего за семейные счета, и получил все свои сбережения – валюту Свободных Штатов на Западе принимали неохотно, поэтому Дэвид заранее предупредил, что средства хочет получить золотом. Он смотрел, как слитки взвешивают, заворачивают в ткань, складывают в маленький черный кожаный чемоданчик, обхватывают его ремнями и застегивают их.

Протягивая чемоданчик, клерк – кто-то новый, кого он не знал, – поклонился ему. – Позвольте пожелать вам всего наилучшего, мистер Бингем, – уныло сказал он, и у Дэвида внезапно перехватило дыхание, и, отягощенный весом металла в руке, он смог только кивнуть в ответ.

Видимо, про его обстоятельства все знали, и, покинув клерка и в последний раз проходя по длинному, застеленному коврами коридору к дедушкиному кабинету, он чувствовал вокруг шепот, почти гудение, хотя рядом никого не было. Только уже почти подойдя к закрытой двери кабинета, он увидел, как кто-то – Норрис – торопливо выходит в коридор из приемной комнаты. – Мистер Дэвид, – сказал он. – Ваш дедушка вас ожидает. – Спасибо, Норрис, – выдавил он. Он едва мог говорить, каждое слово сжимало горло.

Он повернулся, чтобы постучать в дверь, но в это мгновение Норрис внезапно дотронулся до его плеча. Дэвид вздрогнул – Норрис никогда не прикасался ни к нему, ни к Иден и Джону, и, снова взглянув на него, он с изумлением увидел, что у Норриса мокрые глаза. – Желаю вам счастья, мистер Дэвид, – сказал Норрис.

А потом он исчез, и Дэвид, нажав на медную дверную ручку, вошел в кабинет, и – вот! – там был его дедушка, который поднимался из-за стола, но не приветствовал его кивком или жестом, как обычно, а ждал, пока он пройдет по мягкому ковру, такому ворсистому, что на него можно было, как Дэвид когда-то в детстве и сделал, уронить хрустальный бокал, и тот не разобьется, а мягко отскочит от поверхности. Он сразу заметил, как дедушкин взгляд упал на чемоданчик, и понял, что тот понимает, что в нем заключено, более того – знает, сколько там золота до последнего цента, и, садясь, пока дедушка все еще не промолвил ни единого слова, почувствовал запах дыма и земли и, сморгнув, увидел, как в чашку наливают лапсанг-сушонг, и в глазах снова зашипало от слез. Но тут он понял: чашка только одна – дедушкина. – Я пришел попрощаться, – сказал он после тишины столь напряженной, что выносить ее больше не мог, хотя слышал, как его голос дрожит. И когда дедушка ничего не ответил, продолжил: – Ты что, так ничего и не скажешь?

Он намеревался еще раз изложить свои обстоятельства – возражения Эдварда, как Эдвард о нем заботится, как Эдвард унял его тревогу, – но вдруг понял, что в этом нет необходимости. У ног его стоял чемоданчик с золотом, как бывает в сказке, и золото принадлежит ему, а чуть больше чем в миле отсюда его ждет любящий человек, и они вместе проедут еще много-много миль, и Дэвид надеялся, что их любовь совершит с ними этот путь – потому что он верил в это; потому что другого выхода не было. – Дедушка, – сказал он неуверенно, и когда дедушка в ответ только глотнул еще чаю, Дэвид повторил это слово, и еще раз, и потом закричал “Дедушка!”, а тот только по-прежнему бесстрастно поднес чашку к губам. – Еще не поздно, Дэвид, – сказал наконец дедушка, и этот звук дедушкиного голоса – его терпение, его власть, в которой Дэвиду никогда не казалось нужным или разумным усомниться, – наполнили его резкой болью, и ему пришлось удержаться, чтобы не согнуться и не схватиться за живот. – У тебя есть выбор. Я могу защитить тебя – я все еще могу защитить тебя.

Он понял, как понимал всегда, что не сможет объясниться – ему не победить в споре, не найти нужных слов, он никогда не будет никем, кроме как внуком Натаниэля Бингема. Кто такой Эдвард Бишоп против Натаниэля Бингема? Что такое любовь – против всего, что олицетворял его дедушка, кем он был? Что такое он против этого всего? Он никто; он ничто; человек, влюбленный в Эдварда Бишоп и, может быть, впервые в жизни делающий что-то по собственному желанию, что-то, что его пугает, но принадлежит только ему. Возможно, его выбор безрассуден, но это его выбор. Он опустил руку; он обхватил ручку чемоданчика; он поднялся на ноги. – Прощай, – прошептал он. – Я люблю тебя, дедушка.

Он почти дошел до двери, когда дедушка выкрикнул – голосом, которого Дэвид никогда от него не слышал: – Ты глупец, Дэвид!

Но он не остановился и, закрывая дверь за собой, услышал, как дедушка не то что кричит, а скорее стонет – его имя, два вымученных слога: – Дэвид!

Его никто не останавливал. Он снова прошел по коврам коридора, сквозь роскошные двери, через мраморный вестибюль. И вот он снаружи, “Братья Бингема” у него за спиной, а перед ним – город.

Однажды, когда все дети были еще очень малы, наверное, вскоре после переезда на Вашингтонскую площадь, они беседовали с дедушкой про небеса, и когда дедушка все им объяснил, Джон сразу сказал: “Я бы хотел, чтобы у меня там все было из мороженого”, но Дэвид, которому тогда все холодное не нравилось, не согласился: его небеса будут из пирожных. Он это ясно представил: океаны, вздувшиеся сливочным кремом; горные хребты из бисквита; деревья, с которых свисают засахаренные вишни. В тот вечер, когда дедушка пришел пожелать ему доброй ночи, он взволнованно спросил: как Бог может знать, чего хочет каждый? Откуда Он знает, что все окажутся там, где мечтали? Дедушка засмеялся. “Он знает, Дэвид, – сказал он. – Он знает и создаст столько небесных селений, сколько нужно”.

А вдруг это и есть небеса? Узнал бы он их, если бы увидел? Может, и нет. Но он знал, что небеса не там, откуда он пришел, или это какие-то чужие небеса, не его. А его небеса где-то еще, но они не предстанут перед ним, нет, ему самому предстоит их обрести. Разве не этому его учили, не на это велели надеяться всю его жизнь? Пришла пора отправляться на поиски. Пришла пора быть смелым. Пришла пора пуститься в путь одному. Что ж, он постоит здесь всего лишь еще мгновение, с тяжелым чемоданчиком в руке, а потом наберет воздуха – и сделает первый шаг, и пойдет навстречу новой жизни, до самого рая.

Книга II

Липо-Вао-Нахеле

Глава 1

Письмо пришло в офис днем, накануне вечеринки. Почту он получал редко, а если и получал, она не была адресована ему лично – обычно разносчик корреспонденции швырял кому-нибудь на стол сверток с рекламками разных газет и юридических журналов, отправленных просто “ассистентам”, – поэтому он только во время перерыва на кофе удосужился стянуть резинку со стопки конвертов и, перебирая их, наткнулся на свое имя. Когда он увидел обратный адрес, у него перехватило дыхание – разом, так, что на мгновение пропали все звуки, кроме шума жаркого, сухого ветра.

Схватив письмо, он сунул его в карман брюк и убежал в архив, единственное место на этаже, где можно было побыть одному, и там, на секунду прижав конверт к груди, вскрыл его, в спешке надорвав письмо. Однако, уже наполовину вытащив письмо, он вдруг засунул его обратно, сложил конверт пополам и затолкал в карман рубашки. Потом он ушел не сразу, сидел на стопке старых кодексов, дышал в сложенные ковшиком ладони – обычно это помогало справиться с беспокойством.

Когда он вернулся к своему столу, было без пятнадцати четыре. Он уже попросил разрешения уйти в четыре, но все равно спросил начальницу, можно ли уйти еще пораньше. Конечно, сказала она, работы сегодня мало, тогда до понедельника. Он поблагодарил ее и засунул письмо в сумку. – Хороших выходных, – сказала она ему вслед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.